

Жанна Голубицкая



СДЕЛАНА

в

СССР

*Приключения советской
школьницы
в исламском Тегеране*

12+



Жанна Голубицкая

**Сделана в СССР. Приключения
советской школьницы
в исламском Тегеране**

«Автор»

2018

Голубицкая Ж.

Сделана в СССР. Приключения советской школьницы в исламском Тегеране / Ж. Голубицкая — «Автор», 2018

ISBN 978-5-532-98174-4

Эта книга о советском детстве, общем для всех, рожденных в СССР в начале 70-х. Первоклассница московской школы едет в Иран, куда командировали ее родителей. Там ее ждут невероятные приключения – свержение персидского шаха, победа исламской революции, закрытие советской школы при посольстве, эвакуация всех женщин и детей, начало ирано-иракской войны. В полыхающем Тегеране остается всего 5 советских детей – 4 мальчика и наша героиня. Их детство проходит без школы, на фоне чужой революции и войны, что постепенно становится привычным фоном. О жизни на Родине они узнают лишь из писем близких: в 80-м в Москве начинается Олимпиада, а в Тегеране – бомбежка жилых кварталов с истребителей с красными звездами на крыльях, купленных Ираком у Советского Союза. В книге «СДЕЛАНА В СССР» рассказано то, что по разным соображениям не вошло в изданный в Британии роман «ТЕГЕРАН-1360». Уверена: эта часть нашей общей истории будет интереснее российским читателям. Особенно, «сделанным в СССР».

ISBN 978-5-532-98174-4

© Голубицкая Ж., 2018

© Автор, 2018

Жанна Голубицкая

Сделана в СССР. Приключения советской школьницы в исламском Тегеране

От автора

Эти истории, происходившие в Москве и в Тегеране с 1978-го по 1982-й год, по ряду причин не вошли в изданную в Британии книгу «ТЕГЕРАН-1360» или упомянуты в ней вскользь. А поскольку они все же были, заставляя плакать и смеяться, жаль, если они останутся за кадром навсегда. Так и родился этот сборник «из невошедшего».

Каково быть худшей среди лучших

Еще до школы весь мой сокольнический двор повели поступать в музыкальную школу. А меня не повели. И я сама увязалась с подружкой Олей и ее бабушкой.

На прослушивании выяснилось, что весь последний месяц Оля готовила вступительную песню под руководством своей бабушки с музыкальным образованием. Я ничего не готовила, но не растерялась. Когда Оля закончила тянуть свою «Во поле березку», я вышла и артистично, как мне показалось, исполнила единственную песню, слова которой помнила наизусть: «Где же моя черноглазая где, в Вологде-где-где-где...». Папа любил пластинку со сборником советской эстрады и часто заводил ее дома. Первой песней на ней была «Вологда», поэтому я помнила ее лучше всего. За ней шли «Роща соловьиная» в исполнении Льва Лещенко, «Лебединая верность» Софии Ротару и «Остановите музыку, прошу вас я, с другим танцует девушка моя...» не помню, кого. Их я тоже могла бы спеть, если очень нужно, но только наполовину. Я подумала, что если меня попросят спеть еще что-нибудь, я, пожалуй, выберу «Над землей летели лебеди...». Красивая песня и грустная.

Но на бис меня, увы, не вызвали.

Пока я пела, какой-то дядя закрыл лицо руками. А когда открыл, оказался весь красный как рак. А тетя рядом с ним громко шептала, что смеяться над ребенком неприлично. Может, у меня другие дарования.

Когда я закончила петь, эта тетя ласково сказала:

– Вот что, милая девочка, давай ты пока пойдешь в спорт, вон у тебя фигурка какая ладная. А там посмотрим. Приходи к нам в следующем году.

А потом повернулась к красному дяде и снова громко прошипела:

– У некоторых детей слух прорезается с возрастом.

Я догадалась, что родители не забыли повести меня в музыкалку, а постеснялись. За ужином я торжественно сообщила им, что они правы, что стесняются меня.

– Ой, это прямо как я в хоре! – обрадовался чему-то мой папа.

– Не надо это рассказывать! – насупилась мама. – Она растет в семье, где мать закончила музшколу с отличием! – и мама гордо указала на блестящий черным лаком довоенный «трессель» с медными подсвечниками. Когда приходили гости, она играла на нем «К Элизе» и «Полонез Огинского».

– Ну, это ты с отличием, – возразил папа, – а меня выгнали из хора, и я имею право рассказать.

Папа рассказал, что когда только приехал в Москву учиться из города Чарджоу Туркменской ССР, соседи по общежитию рассказали ему, что в Москве с хорошими девушками лучше знакомиться на культурных мероприятиях – в театре или в каком-нибудь кружке по интересам. В театр первокурснику особо ходить некогда, поэтому папа записался в хор при институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Туда ходили самые красивые студентки.

– Мне так все понравилось! – вспоминал папа с мечтательной улыбкой. – На первое занятие пришли сплошь девушки, человек 15, а юношей всего трое. Руководитель был такой милый старичок, какой-то заслуженный музыкант, очень смешно махал руками...

– Не махал руками, а дирижировал! – с упреком встряла мама.

– Дирижировал, – согласился папа. – Песни мы такие зажигательные пели про комсомол и про любовь. Я очень старался. После первого занятия руководитель нас всех похвалил, но под нос себе задумчиво пробубнил: «Но что-то мне мешает, не пойму!» После следующего занятия снова: «Кто-то один мне мешает...» На третьем занятии он долго прислушивался, морща лоб, а потом вдруг хлопнул себя по уху и воскликнул: «Ну, конечно!» Поднялся в последний ряд, где стоял я, мы на таких специальных приступочках для хора занимались, и пригласил спуститься вниз, к фортепиано. Я вышел, такой гордый, думал, сейчас он будет меня хвалить за усердие. Я же старался петь громче всех. Думал, чем громче, тем лучше. А он мне и говорит: «Извините, молодой человек, но хор вы не украшаете. Ступайте лучше в какой-нибудь спорт!» Оказалось, громко – не значит, хорошо. К тому же, я еще и фальшивил. Ну, я упираться не стал и записался в институтскую парашютную секцию. Там тоже девчонок было полно. А пою с тех пор только когда выпью.

– Все прямо как у меня! – восхитилась я.

– Только о девчонках думал, поэтому и выгнали из хора, – заметила мама.

– Зато я стал парашютистом-отличником и на тебе женился, – выкрутился папа. – Главное, не опускать руки. Одному человеку очень редко дано все и сразу. Нет способностей к музыке, значит, к чему-то другому есть. И чем быть хуже всех в деле, в котором ты не одарен, лучше сразу узнать правду и попробовать себя в чем-то другом.

А когда мама вышла с кухни, папа и вовсе развеселился:

– Тебя единственную со всего двора не взяли в музыкалку? Даже из вежливости? Значит, ты особенная! А «особенная» бывает не только со знаком «минус», но и со знаком «плюс». Если на середняка ты не тянешь, значит, в чем-то у тебя никак, а в чем-то максимум. Во всем «никак» быть не может, поэтому просто ищи свой максимум.

Это было довольно путаное объяснение, но суть я уловила. И с тех пор совершенно спокойно относилась к тому, что у меня нет ни слуха, ни голоса, просто не подписывалась ни на что, связанное с пением.

А родители после этого разговора отвели меня на фигурное катание и в английский кружок при Доме детского творчества в парке Сокольники.

Английский кружок не произвел на меня особого впечатления, кроме того, что ходили туда мы вместе с подружкой Олей, и это было весело. А учительницу нашу звали Дженни Николаевна, что в моих глазах делало ее почти англичанкой.

Но фигурное катание тревожило мое воображение куда больше.

На катке ДДТ я возмечтала стать фигуристкой, такой, каких показывали по телеку – чтобы выезжать на лед в красивом платье и за границу в красивой шубе. Чтобы я стояла на пьедестале и улыбалась, а мне хлопали и снимали для телевизора. Но в свои 6 лет я скоро смекнула: секция при ДДТ – слишком долгий путь к моей цели. И решила применить блат.

Папа мой в то время дружил с директором сокольнического ледового Дворца Sports, его назначили взамен того, которого посадили после того, как в марте того же года хоккейные болельщики устроили там смертельную давку из-за американской жвачки. Дядя Рудик бывал у нас дома и интересовался моими успехами в фигурном катании. Я дождалась удобного случая и попросила его взять меня «к настоящим фигуристам», которые тренировались на его подшефном катке.

Мой туркменский папа был страшно далек от интриг большого льда: кажется, он даже не понял всего цинизма ситуации. А, может, просто решил показать, что вовсе меня не стесняется.

А мне лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что такое спорт высоких достижений. Во всяком случае, папа не возразил, когда дядя Рудик пообещал мне исполнить мою просьбу.

Через пару дней меня привели во Дворец спорта.

На большей части льда катались взрослые фигуристы, некоторых я узнала: я смотрела по телеку все соревнования и ходила с папой на турнир «Нувель-де-Моску» в Лужниках. Там он даже провел меня в закрытую зону, где фигуристы выезжают на лед, и я взяла автограф у своих кумиров Елены Водорезовой, Марины Черкасовой и Ирины Родниной. А пока я толкалась у бортика, на меня наткнулась телекамера, и бабушка увидела меня в программе «Время»! И не только бабушка, многие нам после этого звонили и спрашивали, когда же я буду стоять у выезда на лед, но уже не просто так, а в коньках?!

Очевидно, после этой минуты славы я и решила связать свою жизнь с фигурным катанием. В нем мне виделось окно в мир. Да, в общем, так оно и было.

На катке Дворца Спорта меня поразило, что мои кумиры катаются безо всяких блесков, в черных тренировочных трико, никто им не хлопает, а тренер еще и покрикивает на них, как на простых смертных.

В крохотном уголке катка тренировались фигуристы моего возраста, 5-6 лет. Всего человек пять. Как я узнала позже, это были тщательно отобранные по всей стране юные дарования.

Какая-то строгая тетя отправила моего папу, который меня привел, ждать за дверью, а мне велела надеть коньки и присоединиться к детской группе. Всего на катке было два тренера – мужчина и женщина. Мужчина сидел на трибуне, но иногда вскакивал, схватившись за голову, подбегал к бортику и начинал кричать. Женщина стояла у бортика там, где тренировались взрослые фигуристы. Кричать она начинала, только если уже кричал мужчина – судя по всему, он был главнее.

А строгая тетя, выгнавшая моего папу, видимо, была их помощницей. Она все время бегала выполнять какие-то их поручения и тоже кричала, но не на фигуристов, а на всех остальных.

Сопровождаемая громким шепотом строгой тети «блатная», я выехала на искусственный лед, на котором стояла впервые в жизни. Ноги мои разъезжались, а рядом девочки моего возраста выписывали какие-то немыслимые пируэты! Они крутились волчком и задирали ногу в коньке к самой макушке, как Дениз Бильман!

Мне стало невыносимо стыдно. Мысленно я поблагодарила злующую тетю за то, что моего позора не видит мой папа. Однако я решила, что сразу бежать с поля боя стыдно, и торжественно поехала по кругу. Моей задачей было хотя бы не упасть, и я с ней справилась. Гордо описав полный круг по единственному в Москве искусственному льду для олимпийского резерва, я ушла из большого спорта – навсегда.

Папа курил на лавочке возле Дворца. Я сказала ему, что фигурное катание мне разонравилось. В ответ он только ухмыльнулся и даже не полюбопытствовал, почему.

Дома, заметив, что я не особо расстроена отсутствием у меня ледовых дарований, папа принялся веселиться:

– Может, теперь в художественную студию? У меня там знакомые есть.

– Прекрати! – вмешалась мама. – Ты устроишь ей комплексы!

– Какие еще комплексы? – подозрительно буркнула я, подозревая, что это очередной кружок, где я буду самая неуклюжая.

Хожение в музыку и в большой спорт стало мне хорошим уроком. Мне по-прежнему хотелось быть среди лучших. Но я поняла, что самое ужасное – быть среди них худшей.

Блат от Стакан Стаканыча

К счастью, родители не постеснялись повести меня в английскую школу №1 в Сокольниках, а там была такая нагрузка, что я быстро забыла о своих высоких карьерных амбициях.

Поступать в Первую школу в апреле 1977-го тоже пошли всем двором. Принимали туда по результатам собеседования, содержания которого никто не знал.

Бабушка моей подружки, которая знала все и про всех, сказала, что на 20 блатных детей возьмут двоих детей рабочих и двоих умных.

– Ты рабочий? – спросила я папу, придя со двора и рассказав, что услышала от Олиной бабушки.

– Нет, но ты умная, – ответил он.

Я очень переживала, что не смогу показать свой ум. Но виду не показывала.

В день-икс меня нарядили в модные красные брюки-клевш и японский батник с персонажами мультиков. Все девочки во дворе школы были в белых блузочках и черных юбочках.

– Я же говорила! – выдохнула мама.

– Пусть чувствует себя расслабленно, – тихо ответил папа.

Я поняла, что в своих красных штанах я снова белая ворона. Загладить штаны мог только мой невероятный умище.

Вызывали по списку, по одному. Родителей не пускали даже в здание школы.

Во двор выходила тетя со списком, выкрикивала фамилию и забирала нужного ребенка. Соискатели места в престижной школе толпились во дворе с 7 утра до 8 вечера. Мы, правда, опоздали и пришли в 11. Мама с утра побежала в парикмахерскую, а потом долго выбирала платье. Среди родителей она была самая нарядная, но толпиться во дворе ей пришлось наравне со всеми. Меня вызвали часа через два, папа успел сбегать за горячими пончиками, а я испачкать свои красные «клеши» в сахарной пудре от них.

Наконец, тетя со списком пришла и за мной. Меня привели в комнату, где за столом сидело человек восемь. Я их не считала, но мне показалось, что их ужасно много. Все тети и только один дядя, почему-то в синем тренировочном костюме. Прямо как тренер у фигуристов.

– Умеешь ли ты говорить по-английски, девочка? – зычно спросила из-за стола полная тетя с огромным сооружением из волос на голове. Она чем-то напомнила мне дедушкину подругу тетю Шуру, которая работала в психиатрической больнице, и в гостях всегда про нее рассказывала.

– Умею, – с достоинством ответила я. Зря, что ли, я почти целый год ходила в английский кружок.

– Ну, скажи нам что-нибудь! – потребовала тетя.

– А можно я спою? – неожиданно для себя спросила я. Наверное, фиаско в музыкальной школе все же не давало мне покоя.

Комиссия заулыбалась и спеть разрешила.

Я затянула «Teddy Bear». Этот стишок легче было бы просто продекламировать, но в кружке мы почему-то его пели.

Если в свои шесть с половиной я могла бы рассчитывать, то расчет оказался верным. Пение мое быстро остановили со словами:

– Ну английский ты знаешь, мы слышим. А теперь расскажи, что ты видишь на этой картинке?

И они повесили на доску картинку, изображающую солнечный зимний денек, искристый снег и румяных детей, часть из которых катается с горки на санках и картонках, а другая весело играет в снежки.

Надо сказать, что именно такую погоду я почему-то ненавидела. В подобные дни, пока мои дворовые друзья резвились в снегу, у меня наступал ступор. Я, конечно, была укутана, как положено. Но толстая цигейковая шуба, подпоясанная папиным армейским ремнем с пряжкой, две шапки, а под ними косынка, валенки с галошами и три кофты под шубой не давали мне даже пошевелиться. А лицо, которое единственное оставалось снаружи, все равно противно ципал мороз. В толстых варежках пальцы мои не гнулись, а резинка от них, перекинутая через

мою шею, нещадно в нее впивалась. Как-то я потихоньку сняла эти варежки, чтобы открыть дверь подъезда, и моя ладонь тут же примерзла к железной ручке.

Я ненавидела такие дни настолько, что даже стихотворение Пушкина «Мороз и солнце, день чудесный...» вызывало во мне содрогание.

Куда больше мне нравилась «подтаявшая» зима, когда вдруг случался ноль, и на улице становилось пасмурно, тепло и сыро. Хотя другие находили такую погоду серой и склизкой.

Но тут я решила, что высказать на собеседовании отвращение к прекрасной солнечной погоде, которую любят все нормальные дети, будет неправильно. Еще решат, что я больная.

И принялась упоенно описывать, как весело играют изображенные на картинке дети. В процессе я увлеклась: нарисованные мальчишки получили имена и личностные характеристики. Я сообщила комиссии, что вон тот мальчик Петя, который едет с горки на картонке, страшно завидует Васе, который мчится на санках-ледянках. Да чего уж там, я сама ему завидую! Вот сколько выпрашиваю у родителей ледянки, а они все дорого да дорого...

Тут единственный среди тетя дядя, тот самый в тренировочных, не выдержал. Он и так весь мой рассказ ерзал на стуле и явно не проникался везением Васи и завистью Пети. А тут и вовсе перебил:

– Все, хватит, лично я ее принимаю!

На этом тетя со списком вывела меня назад во двор. Ко мне сразу бросились родители, не только мои, но и тех соискателей, которых еще не вызывали.

– Дядя в трениках сказал, что лично он меня принимает. Наверное, он там главный, – успела успокоить я маму и папу, и тут у меня начисто пропал голос.

Видимо, я все-таки перенервничала, поступая в эту школу. Хотя мне казалось, что собеседуюсь я легко и непринужденно, как Юлька и Светка с нашего двора. Они хоть и считались хулиганками, зато язык у них был без костей и они никогда не смущались, даже перед взрослыми. Мне очень хотелось стать на них похожей. И, судя по всему, на собеседовании в первую школу мне это удалось. Но сражение с собственной робостью отняло мои силы и голос.

Услышав про «дядю в трениках», мой папа хохотал так, что даже слезы вытирал от смеха. Мама никак не могла понять, в чем дело.

Как выяснилось позже, папа пытался подстраховать меня на собеседовании через сокольнический райком партии, где у него были знакомые. Первая английская слыла «позвоночной»: приемная комиссия учитывала звонки «сверху». Папе пообещали помочь на уровне директора школы. Но директриса даже не успела вставить свои пять копеек в мою пользу, ее опередил школьный физрук Степан Степаныч по прозвищу Стакан Стаканыч. Его никто не коррумпировал по партийной линии, ему просто надоело меня слушать.

Позже, во взрослой жизни, я еще не раз сталкивалась с тем, что мужчины-физкультурники не любят, когда женщины много разговаривают.

А «блат» от Стакан Стаканыча родители припоминали мне на каждую плохую оценку:

– Недаром тебя в школу из всей комиссии принял только физрук!

Сразу после того собеседования я слегла с высокой температурой. А когда через неделю вышла во двор, узнала, что мои раскрепощенные примеры для подражания – Ленка и Светка – в мою школу не прошли по конкурсу и они пойдут в простую – 369-ю.

Светкин комок

Я совсем не умела просить – и иногда это создавало мне кучу проблем, пусть и маленьких, какой я была сама, но ведущих к большим детским переживаниям.

Просить я даже не то, чтобы не умела, а терпеть не могла – не от того, что считала, что это нехорошо, а просто каждый раз испытывала почти физическое неудобство. Даже если моя просьба была несложной и оправданной. И меня всегда удивляла выдержка тех, кто ради своих хотений не ленился и не стеснялся день за днем ныть другому в уши, пока тот не дрогнет. Особенно странным казалось мне, когда кто-то предпочитал упрашивать другого о том, что с

легкостью мог сделать сам. Я не понимала, зачем унижаться и зависеть от настроения других людей в том, с чем можешь справиться самостоятельно?! Ведь выпрашивать – это тоже работа, которая, к тому же, бывает очень неприятной! Но, очевидно, успех предприятия для подобных «просителей» и заключается в том, чтобы взять другого измором, а самому не пошевелить и пальцем.

Символом природного дара вынудить любого сделать, как она желает, для меня навсегда осталась Светка с нашего двора. Случай с дворовой Светкой был еще до школы, нам всем было лет по шесть, но именно тогда я пришла к выводу, что чересчур назойливые просьбы, равно как и согласие, выманенное таким способом, не предвещают ничего хорошего.

А дело было вот как. Светка как-то зашла домой к моей подружке и соседке Ленке и увидела на стене ее комнаты портрет Лаки – Ленкиной собаки породы «колли». Ленка нарисовала Лаки сама под руководством своего папы-художника, и рисунок вышел действительно очень похожим. У Светки тоже была колли, как две капли воды похожая на Ленкину Лаки, только звали ее Альма. Светке тоже захотелось повесить в своей комнате портрет Альмы. Первым делом Светка попросила Ленку подарить ей портрет собаки, только замазать подпись «Лаки» и написать «Альма». Ленка отказалась, сказав, что рисунок ей и самой нравится. Не зря она старалась, потратила на работу над портретом несколько дней, а ее папа исправлял ошибки, пока картина была в карандаше.

– Ну, видишь, какая ты способная! – попробовала подлизаться Светка. – Тебе ничего не стоит себе еще один портрет нарисовать, еще лучше, а этот отдай мне!

Ленка ответила, что хотя их со Светкой собаки и похожи, но настоящий художник улавливает нюансы, особенно, работая с натурой. Поэтому на портрете Лаки, а никак не Альма, и каждый, разбирающийся в живописи, это непременно заметит. Не зря она была дочерью настоящего художника!

Ленка думала, что отвертелась от настырной Светки с ее просьбами. Но, как выяснилось, только загнала себя в новую ловушку.

С того момента в течение двух недель Светка ходила за Ленкой хвостом, то умоляя, то требуя, чтобы Ленка пришла к ней домой и нарисовала с натуры Альму. Вежливая Ленка предлагала Светке разные варианты помощи – дать ей на дом свой рисунок, чтобы она могла ориентироваться в пропорциях, сама рисуя свою собаку. Приглашала прийти с карандашным наброском к Ленкиному папе, чтобы он исправил все огрехи перед тем, как Светка раскрасит. Но все было бесполезно. Светка хотела, чтобы на стене ее комнаты висел такой же портрет собаки, как у Ленки, но она вовсе не желала его рисовать. Выход для нее был очевиден: раз Ленкин рисунок ей нравится, значит, она и должна нарисовать такой же для Светки, раз жадничает отдать свой.

Ленке совсем не хотелось идти к Светке и рисовать там Альму и она понимала, что не обязана это делать. Но и обижать Светку резким отказом она не хотела, понимая, что это выльется в ссору, после которой Светка наверняка настроит против Ленки всех девчонок во дворе. В этом Светка была большой мастерицей.

День шел за днем, а Светка не сдавалась и ходила донимать Ленку, как на работу. То напоминала об их дружбе, то жалобно канючила, то топала ногами и угрожала «поссориться на всю жизнь», а пару раз даже по-настоящему разревелась, со слезами и жалобным шмыганьем носом. К началу второй недели весь наш двор, включая взрослых жильцов дома, был уже в курсе, что «Светочка каждый день плачет, умоляя о какой-то пустынной картинке, а бессердечная Лена жадничает и плюет на подружкины слезы». Светка разносила слухи стремительно как реактивный самолет.

Дело дошло до того, что даже собственная Ленкина мама махнула рукой и саркастично подытожила: «Да уж, здесь по-моему легче нарисовать, чем объяснить, почему не хочешь!»

И к концу второй недели Ленка капитулировала: пошла к Светке домой и целый день рисовала ее собаку. Вместо «спасибо» Светка заявила, что Ленке просто нравится, когда за ней бегают и упрашивают. Но теперь Светка так рада, что у Ленки проснулась совесть, что, так и быть, ее прощает.

Пока подружка работала, Светка дважды бегала гулять во двор, где с упоением рассказывала, как «работает над портретом Альмы». В промежутках между прогулками она обедала, ужинала и болтала по телефону. Правда, Светкина бабушка принесла Ленке чай с бутербродами.

Зато готовый рисунок очень понравился «заказчице», и она взяла с Ленки честное дружеское слово, что она никому никогда не расскажет, кто его нарисовал.

– Я буду говорить, что сама нарисовала, тебе же не жалко? – заглядывала Света художнице в глаза. – У тебя свой рисунок есть. Да ты еще хоть сто таких себе нарисуешь, ты же вон какая талантливая!

Ленка не нашлась, что ответить, и «честное дружеское слово» дала.

На следующий день Светка вышла во двор со своей Альмой на поводке и ее портретом подмышкой и принялась хвастаться «сходством, которое ей удалось уловить». Портрет и впрямь был хорош, и Светка снискала всеобщее восхищение. Я в этот момент наблюдала за Ленкой и внутри меня все клокотало. Я не знала, как называется то чувство, которое я испытываю, но оно было похоже на глухое, но очень ядовитое раздражение, разъедающее меня изнутри. Нечто подобное я испытала, когда некоторое время назад Светка подбила меня спрятаться от ее бабушки в строительном вагончике. Ей не хотелось идти в кружок, а бабушка вот-вот должна была за ней выйти и увести со двора. Светка откровенно брала меня «на слабо», приговаривая, что такой трусихе, как я, увлекательных приключений в своей жизни не видать. А как только я, поддавшись ее провокациям, распахнула дверь вагончика и предстала перед удивленными дядьками в грязных спецовках, которые там обедали, стоящая за моей спиной Светка с хохотом убежала. И прыгала в отдалении, показывая мне язык, и визгливо крича на весь двор: «Ой, смотрите, а она ко взрослым дядькам полезла в бытовку!»

Светка вовсе не считала свой поступок поводом для ссоры, искреннее полагая, что это была ловко придуманная шутка, которая удалась исключительно по моей глупости. И теперь я должна быть благодарна Светке за науку.

– Ну чего ты еще и дуешься? – заискивающе приговаривала она, когда во дворе осталась только я, а Светке хотелось попрыгать с кем-нибудь в классики. – Сама и виновата. Если бы ты твердо сказала: «Не пойду в бытовку и все!», моя шутка бы провалилась. А так удалась, смешно же было, ну скажи?!

Я отчетливо ощутила, что сию минуту, прямо из-под моего носа, уплывают ориентиры, что такое хорошо, а что такое плохо. Я растерялась, не зная, как сформулировать свою обиду, и промолчала.

– Ну и славно, – подытожила Светка. – На обиженных воду возят. Давай скорее прыгать, ты водишь!

И я стала послушно гонять битку по меловым клеткам на асфальте, ощущая где-то под ребрами, в промежутке между грудью и пупком, тяжелый тошнотворный комок и мерзкий металлический привкус во рту. Такой же был, когда мы с двоюродным братом на спор облизали в гостях у бабушки свинцовый набалдашник дедушкиной трости. Брат уверял, что, лизнув свинец, можно тут же умереть. Я ответила, что если оближу и не умру, то и он должен лизнуть. Лизнули оба, никто не умер, мне было тогда пять, а кузену семь.

Тот же свинцовый комок вернулся, когда я наблюдала, как Светка хвастается Ленкиным рисунком, выдавая его за свой, и беззастенчиво принимает восторги окружающих. И как Ленка стоит рядом, молча опустив глаза, и, судя по ее виду, еще и чувствует себя виноватой в том, что ей неприятно. Ведь она же и впрямь не жадина, она умеет и дружить, и рисовать, и для подруги

ей ничего не жалко, и она действительно может нарисовать «еще хоть сто таких колли»... Но почему же тогда так мерзко на душе?

С тех пор тот самый мерзкий комок периодически навещает меня в течение всей жизни, возвещая о том, что рядом орудует очередная «светка». Но как называется это чувство, которое мой организм воплотил в виде «комка со свинцовым привкусом», я до сих пор не знаю. Равно как и не нашла меткого слова для оценки поступков многочисленных «светок», попадавших на моем жизненном пути. Образ той, самой первой в моей жизни Светки, впервые размывшей в моих глазах границы добра и зла, все время сбивает меня в подобных случаях с толку, не давая точно определить, что это было – меня обманули или я сама оказалась дурой? Не зря Светка любила завершать свои выходки примирительным заявлением: «А чо такова-то? Убыло от тебя, что ли?! Подумаешь! Стыдно из-за такого пустяка портить настроение подружке!»

Ленке тоже было гадко, я видела это по ее лицу. Но она молчала, как и обещала Светке. Но та все равно в тот же день люто с ней поссорилась, изобретя какой-то дурацкий предлог. Ленка так и не поняла, почему, ведь она все сделала так, как желала подружка. Зато Светка с легкостью объяснила всему двору, что Ленка сама с ней поссорилась: «Да ей просто завидно, что меня все хвалят! Уж у нее и папа настоящий художник, и занимается с ней, и в «художку» ее водят три раза в неделю, а я все равно лучше рисую!»

– Просто природный талант, – скромно добавляла Света. – Со мной никто не занимается.

Я не выдержала, оттащила Ленку в сторону и предложила раскрыть всему двору правду, ведь я тоже ее знала и могла подтвердить. Но Ленка сказала, что не видит в этом никакого смысла. Главное, что правду знают они обе: при желании Ленка может нарисовать еще кучу замечательных картин, а вот Светка – ни одной. Поэтому доказывать ей что-то сейчас, когда она считает, что заслужила минуту славы не талантом, так хитростью и наглостью, не имеет никакого смысла. А до того, что думают остальные обитатели двора, Ленке нет никакого дела.

Я не столько поняла, сколько почувствовала Ленкино настроение и примкнула к ее покорному молчанию, только мерзкий комок никуда не девался. А Светка, поняв, что мы обе так и будем молчать, как две глупые рыбы, вошла в раж и «по секрету всему свету» сообщила всему двору, что и портрет Ленкиной Лаки нарисовала она, Света. Только «Ленка прям на коленях умоляла ее никому не говорить, чтобы выдать рисунок за свой».

– Сама-то она рисует как курица лапой, да и не загонишь ее рисовать, усидчивости у нее нет, – важно поясняла Света, очевидно повторяя слова взрослых, только сказанные не в Ленкин, а в ее собственный адрес.

Случай вроде бы и впрямь пустяковый – какой-то рисунок. Но, помимо неприятного комка под ребрами, он оставил мне на память сложный осадок эмоций, из разношерстного букета которых явно различимо только чувство бессильного раздражения. Такое случалось со мной летом на даче, когда в жару упорно отмахиваешься от мух, прекрасно понимая, что никуда они не денутся, пока ты сама не отойдешь от навозной кучи. А отойти нельзя, потому что водишь в общей игре, а место водящего назначено здесь.

С тех пор я стала остерегаться навязчивых просьб других и старалась делать самостоятельно все, что мне под силу, лишь бы лишней раз не просить. Постепенно это переросло почти в фобию: меня пугала сама процедура «прошения» и мое состояние в ее процессе. По причине малых лет все это происходило неосознанно, но через полгода я начала задыхаться, когда мне предстояло попросить даже о каком-нибудь пустяке – достать мне с верхней полки книжку или передвинуть поближе соль. При том, что подставлять стул и лазить на верхние полки, а также тянуться рукой через весь стол, мама сама мне запрещала.

Санки-ледянки

От аллергии на необходимость кого-то о чем-то спросить меня невольно избавила мама. Как всякая блондинка, она предпочитала быть внезапной. И даже если моя мама что-то пред-

лагала сама, до самого последнего момента нельзя было быть уверенным, что она не передумает.

Не знаю, применяла ли она свою «внезапность» к взрослым, но со мной – регулярно. Суть у происшествий всегда была пустячная, но в результате оставалось ощущение, что тебя обманули и подвели.

Например, зимой первого класса в нашем дворе залили ледяную горку, и некоторые дети вышли на нее с санками-ледянками, которые тогда считались дефицитом. Мне, конечно, тоже такие хотелось, но именно в тот период жизни мое нежелание просить существенно пересиливало желание иметь. Мама сама заявила за ужином:

– Ой, а ведь у тебя тоже есть ледянки! От Сережи остались. Только они на антресолях.

Для меня это было примерно то же, что для взрослого неожиданно узнать, что у него на антресолях припрятан сундук с золотом. Я жутко обрадовалась и после еды принесла табуретку, чтобы лезть на антресоли.

– Ни в коем случае! – вмешалась мама. – И Мотя пусть не лезет, упадете еще обе, я сама достану. Потом.

– Когда? – уточнила я.

Вопрос был вполне оправданный. Зная, когда у меня появятся чудо-санки, я могла договориться с подружками, чтобы выйти кататься вместе.

– Когда время будет, тогда и достану, – размыто ответила мама.

– Да чего тянуть, давай я прямо сейчас влезу и достану ей ледянки, – предложил папа.

– Ой, нет! – испуганно воскликнула мама. – Только не ты! Санки где-то в самой середине, среди других вещей. А если ты полезешь, это все сейчас вывалится, перепутается, пылица полетит, а мне потом всю ночь разбирать. Нет, я сама, только потом, а то там работы на полдня.

– А когда? – не сдавалась я.

– Посмотри, какая она упрямая! – вспылила мама, обращаясь к папе. – Вся в тебя! Впились прямо как клещ, вынь ей да положи!

– Мне просто хочется сказать девочкам, когда я смогу выйти во двор с ледянками! – растерянно попыталась оправдаться я.

– Ну, точно в тебя! – саркастически откликнулась мама, продолжая обращаться к папе. – Какие-то девочки, которым нужно точно сказать, когда, дороже родной матери, которая с ног валится после рабочего дня! А ты, – она повернулась ко мне, – лучше бы об учебе думала, а не о гулянках с санками.

Я осталась в полнейшей растерянности. Теперь, когда я точно знала, что ледянки у меня есть, остается только достать их с антресолей, я, разумеется, желала их получить. На следующий день я аккуратно напомнила маме:

– Мам, а когда ты достанешь мне санки?

– Что? – мама рассеянно посмотрела сквозь меня. – Санки? А, достану-достану! Дай передохнуть, не видишь, человек только домой вошел после работы! Нет бы принести маме тапочки, спросить, как она себя чувствует, а ты сразу со своими ледянками, как с ножом к горлу!

В тот вечер я постеснялась вновь поднять тему санок и антресолей.

Но на следующий вечер повторила вопрос:

– Мам, ты помнишь, что обещала достать мне с антресолей санки?

– У кого чем, а у нее голова только санками да горками забита! – вспылила мама. – Ты уроки сделала?

– Сделала, – ответила я.

– Я сейчас проверю, как ты сделала! Представляю, что там, если все мысли о санках!

Мои уроки проверил папа, а мама в тот вечер тоже не полезла на антресоли.

С небольшими вариациями эта сцена повторялась каждый вечер, пока, наконец, в четверг вечером мама не заявила:

– Такие настырные, как ты, способны дырку в голове просверлить своими требованиями! Лучше бы ты к себе так требовательна была в учебе и поведении! Ладно, достану в пятницу вечером. Вот приду еле живая после рабочей недели и начну антресоли разбирать, пусть тебе будет стыдно! Смотри, мать родную не жалко, лишь бы подружкам своим угодить, покататься с ними на санках, когда им удобно!

– Если в пятницу вечером не достанет, – шепнул мне папа, – в субботу утром я сам влезу, когда мама уйдет в Институт красоты.

Папа знал, что в субботу утром на нашей горке обычно полный сбор с ледянками. Первоклашки всех окрестных школ по субботам не учились, и нас там была целая компания.

На радостях я сообщила Оле и Лене, что в субботу мы катаемся вместе, теперь у меня тоже есть ледянки!

Сначала все шло по плану: утром мама ушла к косметологу, а папа влез на антресоли и достал вожделенные ледянки. Пылищи и баракла на антресолях и впрямь было очень много, и в коридор тут же вывалились какие-то довоенные ватные елочные игрушки, но тетя Мотя быстро все прибрала, а папа протер ледянки.

Я побежала одеваться. А когда была готова, на пороге возникла моя мама, казавшаяся особенно стройной в модном узком синем пальто с белым песцовым воротником и в белых лаковых сапогах на платформе. На ней был свежий макияж, кудри и она выглядела оживленной:

– Собирайтесь! – сказала она. – Мы едем в гости к Наташе с Сашей. И поторопитесь! Я уже готова и жду только вас! А то такие тянучки оба!

От неожиданности мы с папой одновременно открыли рты. Во-первых, обычно дольше всех у нас собиралась мама, а мы ее терпеливо ждали. Во-вторых, мы оба впервые слышали про приглашение от тети Наташи с дядей Сашей.

– Ирина, но это как-то неожиданно... – неуверенно сказал папа.

– Надо уметь принимать спонтанные решения! Раз-два! – весело сказала мама.

– Но вдруг у нас другие планы! – ответил папа.

– Планы? У вас? – недоверчиво переспросила мама. – Сегодня суббота, какие у вас могут быть планы?! Если ты скажешь, что тебя неожиданно вызвали в выходной на работу, я не поверю! – она грозно сдвинула брови.

– Нет, меня не вызвали, – успокоил ее папа. – Но вот дочка собралась покататься.

Тут мама только увидела извлеченные с антресолей и отмытые ледянки и рассердилась:

– Я же сказала, что я сама! Что за самоуправство такое?! И что за невыдержанность! Прямо будто свербит в одном месте!

– Пока ты достанешь, зима закончится! – позволил себе папа.

– А ты поощрай-поощрай! – закричала в ответ мама. – Но когда у тебя вырастет дурочка, думающая только о том, как бы с горки вниз скатиться, не говори, что я в этом виновата! Это у вас, наверное, в Туркмении так детей воспитывают – сунул им сани в руки и с глаз долой! Но ты, милый, в Москве!

Услышав знакомые «ругательные» интонации, тетя Мотя привычно спряталась в своей комнате.

– Прежде чем высказываться, хотя бы узнала, что в Туркмении на санях не катаются, – спокойно ответил папа. – Иди сама в свои гости, а мы пойдем кататься на санках, у нас свои планы.

– Планы? – сбавила обороты мама и растерянно захлопала глазами. – Как это свои планы? У нее был такой искренне изумленный вид, что мне даже стало немного ее жаль.

– Вот так, свои планы, – повторил папа.

– Планы покататься с горки с девочками? – запрочитала мама. – Но она с ними еще успеет накататься, вся зима впереди! А тетя Наташа так ждет, и Леночка, ее дочка, ждет. Они утку пожарили, торт испекли, что я должна теперь им сказать? Что мы не придем, потому что у вас планы кататься с горки?!

– Но и они не предупредили заранее о своем приглашении, – возразил папа. – А люди не обязаны в последний момент менять свои планы.

– Да они предупредили! – махнула рукой мама. – Они еще в понедельник пригласили. Это я забыла вовремя передать, так вы меня вымотали со своими санками!

Мама выглядела очень расстроенной.

– Может, завтра покатаешься? – спросил меня папа. – А сегодня пойдем в гости, а то тетя Наташа с дядей Сашей и Леной обидятся.

Я представила, как тетя Наташа с дядей Сашей и Леной тоскуют в одиночестве перед своей уткой, и мне их тоже стало жаль. Тетя Наташа была веселая, добрая и очень любила угощать гостей вкусностями собственного приготовления. Они с мамой сидели за одной партой с самого первого класса и до сих пор дружили. Дядя Саша был муж тети Наташи и папа Лены, с которой я дружила, но только тогда, когда мы ходили к ним в гости или они к нам. В остальное время Лене я, видимо, была не очень интересна, ведь она ходила уже в третий класс.

– Ладно, пойдем! – согласилась я. – Но завтра я иду кататься на санках!

– Конечно! – хором согласились мои родители.

Мы дружно сходили в гости, все наелись, родители наговорились, мы с Леной наигрались и все остались довольны. А на следующий день я позвонила Оле и сказала, чтобы она выходила во двор с ледянками. Это услышала мама и закричала:

– Опять гулять?! Нет, вы посмотрите, у нее какой-то бзик с этими ледянками! Чем там намазано на этой горке? Ну хоть ты ей скажи, – обратилась она к папе, – что нужно хоть иногда о деле думать, а не о гулянках! Вчера уж в гости сходил, навеселилась, нормальный ребенок бы сегодня уже успокоился, сел за уроки, а у этой опять все мысли, как бы погулять!

– Мам, но я уже договорилась! – ответила я.

– Договорилась? С кем? С этими свистушками твоими? Они-то уроки, наверное, вчера выучили, пока ты в гостях веселилась. А сегодня будут кататься и смеяться над тобой, что мы-то отличницы, а эта дурочка с невыученными уроками, а все гуляет! Они тебя еще и специально будут звать, чтобы ты хуже всех училась!

– Но я же вчера с вами пошла, потому что вы обещали... – растерялась я.

– Тоже мне, одолжение она нам сделала! – усмехнулась мама. – Ты же не кирпичи таскать пошла, а в гости.

И вот тут я взорвалась, вложив в свои действия все, что не могла облечь в слова, понимая, что мама тут же обесценит их значение. Что она сама мне обещала – сначала неделю назад, потом каждый вечер, потом вчера... А в итоге и слово свое не сдержала, и меня же сделала виноватой.

Я схватила эти злосчастные ледянки и с силой швырнула к входной двери, туда же полетели мои валенки с галошами, в которых я ходила на горку. Дальше я молча оделась. Видимо, у меня был такой вид, что никто не попытался меня остановить, даже мама.

Перед тем, как с грохотом хлопнуть входной дверью, я обернулась и решительно заявила:

– Я иду кататься! И всегда буду делать то, что хочу!

Я просто не знала, как еще выразить свой протест и негодование от того, что меня обманули и подвели. Пусть планы у меня маленькие, несерьезные, и договоренности детские, но я и сама маленькая – и для меня они так же важны, как для взрослых их большие планы и договоренности! И мне также обидно, когда их считают настолько незначительными, что могут переступить через них в любой момент, даже без предупреждения!

Внутри меня клокотал какой-то возмущенный зверек, и я просто физически не смогла бы в тот момент успокоиться и остаться дома.

– Неблагодарная! – раздалось мне вслед от мамы. – Ей и ледянки, и гости, а она еще и безобразничает! Избаловали вконец!

Я хлопнула дверью, вложив в этот хлопок все то, что чувствовала – раздражение, гнев, бессилие и ощущение униженности. И весь мой организм требовал немедленно это унижение чем-нибудь компенсировать.

В тот день я летала с горки так отчаянно, что дважды чуть не влетела под колеса проезжавших мимо машин. Меня охватила какая-то безрассудная удаля, и больше мне было никого не жаль – ни маму, которая выглядела такой растерянной, узнав, что самые близкие могут взять и не пойти с ней в гости, ни тетю Наташу, которая будет одна есть свою утку. Во мне поднималась, зрела и крепла мощная волна протеста, но я не знала, как объяснить суть своего возмущения. Что было бы не так обидно, если бы у меня вовсе не было никаких ледянок. Или если бы мама вовсе не вспомнила, что они лежат на антресолях. Или вспомнила бы, но сказала бы, что они чужие, и она никогда мне их не достанет. Или что она в принципе возражает против катания с горки. Но в том, что она сама о них вспомнила, пообещала, растравила душу, а потом обманула и меня же обвинила, и таилось то самое действие, название которому подобрать я не могла, но организм мой, даже помимо моей воли, отвечал на него бурным противодействием.

Про то, что каждое действие всегда равно противодействию, мне как-то рассказал папа. К чему он это сказал, я забыла, но саму фразу запомнила за ее необычность.

В тот день в маминых глазах я навсегда завоевала репутацию «упрямой туркменской девицы, которая гнет свою линию вплоть до безобразных сцен». Я подслушала, как она расписывает по телефону мое поведение своей маме, моей бабушке, и ужаснулась сама себе:

– Нет, мам, ну ты представляешь, маленькая, а уже такая коварная! – громко шептала мама, прикрыв трубку рукой. – Неделю кивала, делала вид, что соглашается, а тем временем молча, исподтишка, все по-своему, по-своему...

Бабушка, видимо, поинтересовалась, что именно я сделала «исподтишка по-своему», так как мама ответила:

– Ну я ей сама сказала, что если будет всю неделю хорошо заниматься, я ей к выходным ледянки с антресолей достану. А она каждый вечер меня донимала – все брось и лезь ей на антресоли! Потом отца подговорила ледянки эти ей достать, чуть субботний поход в гости нам не сорвала, так ей надо было на горку! А воскресенье уж надо к школе готовиться, а она опять – хватать ледянки и бегом на улицу!

Тут бабушка, видно, сказала, что нечего было и сообщать про ледянки, раз лень было их достать, потому что мама стала оправдываться:

– Понимаешь, я сначала вспомнила, что они есть, а потом сообразила, как это опасно! Ты же помнишь нашу дворовую горку, с нее прямо на проезжую часть дети выкатываются!

После этого мама довольно долго молчала с виноватым видом, слушая трубку. Я догадалась, что бабушка ругает ее, а не меня. Наконец, мама вздохнула:

– Ну вот и ты туда же, надо было объяснить по-человечески! Не понимают они по-человечески, оба! Объяснять бесполезно, можно только молча делать. Это же Каракумы, генетика, кочевники, упрямство, наметил дорогу и прет по ней, что бы ни случилось. А чуть расслабишься, и тебя в ишака превратят!

Продолжение разговора я подслушивать не стала. Но с тех пор слово «Каракумы» стало для меня комплиментом, обращенным к человеку, который точно знает, куда идет, и сбить с пути его невозможно. Потому что он не позволяет превратить себя в безответного ишака, на чувства, мысли и планы которого погонщику глубоко плевать, лишь бы шел вперед и тащил поклажу.

А мама приобрела в моих глазах статус «бога», которого можно умолять и ходить на поклон хоть каждый день, но это никак не гарантирует его милости. Соответственно, и сам Бог в плане исполнительности и обязательности казался мне похожим на мою маму. А если кто-то решает взять на себя функции «бога» и сам лезет на антресоли, как мой папа, то это непременно заканчивается скандалом.

Зато с того случая с ледянками я поняла, что моя боязнь прямых просьб меня же в итоге ставит в глупое положение, и стала с этим страхом бороться, заставляя себя не только просить, но и требовать на свою просьбу внятного ответа. Если ответом было твердое «нет», я быстро примирилась с отказом и успокаивалась. Очевидно, больше всего меня пугал не сам отказ, а отсутствие определенности, когда кто-то намеренно держит тебя в подвешенном состоянии.

Маму в образе «не обязательного бога» я тоже на удивление легко приняла и просто старалась с ней не связываться, адресуя все свои просьбы, сомнения и вопросы папе. А если маме все же случалось вклиниться, пообещать и подвести, я больше не «молчала и кивала», как она наябедничала на меня бабушке, а отмечала ее поступок бурным протестом. В ответ она всегда уводила разговор от сути вопроса в сторону общих нотаций:

– Ты не умеешь быть благодарной! Если бы не я, тебя бы вообще не было на свете! А ты еще из-за каких-то пустяков повышаешь на мать голос!

Формально она вроде бы была права: нет на свете таких вещей, из-за которых можно было бы всерьез гневаться на родную мать. Но во всех ситуациях, где речь шла об унижении моей маленькой личности, даже если я сама до конца не понимала этого, противный свинцовый «светкин» комок поднимался во мне откуда-то из-под ребер, издевательски сигнализируя, что меня снова то ли обманывают, то ли я сама дура.

Мой страх перед необходимостью кого-то о чем-то просить постепенно прошел, хотя процесс по-прежнему был мне неприятен. Я заставляла себя тренироваться и регулярно что-нибудь клянчить, чтобы изжить топорную неловкость. Я же видела, как грациозно просят о «маленьком одолжении» красивые героини кино, и в ответ героини бросают к их ногам целый мир.

Но моя неловкость никуда не девалась, даже если просить приходилось далеко не о целом мире, а о сущем пустяке. Легко было только с людьми, про которых я точно знала, что тянуть с ответом и издеваться они не станут. Если просьба выполнима и не очень их затруднит, они тут же согласятся, не заставляя долго себя упрашивать. А если не могут помочь, так сразу прямо скажут об этом, не вселяя напрасных надежд. Но таким человеком, пожалуй, был только папа. Он всегда сразу говорил либо «да», либо «нет», не вынуждая брать себя измором. А как только выполнял просьбу или отказывал в ней, тут же закрывал тему и, в отличие от мамы, никогда не напоминал о том, что я у него что-то «вымогла» и теперь должна быть «бесконечно за это благодарна». И уж тем более не вспоминал про то, что я «просила-просила, да не так и не выпросила».

«Ути-пути, моя дочечка!»

Иногда я размышляла, что может же моя мама быть не занудной, когда хочет!

Одно то, как она решилась уехать вслед за папой в Ашхабад, чего стоит! Хотя познакомились они у метро Парк Культуры-радиальная, возле ИнЯза, и мама и не помышляла, что это знакомство может закончиться для нее переездом в столицу Туркмении. Она от российской-то столицы далеко не отъезжала. Но в папу она влюбилась и вышла за него замуж. И даже то, что все ее близкие, один за другим, попадали по этому поводу с сердечными приступами, ее не остановило.

А папу после диплома распределили в столицу его малой родины, чем он гордился. Ведь сам он родился даже не в столице, а в Чарджоу, втором по величине городе Туркменской ССР. И папа категорически не хотел использовать женитьбу на москвичке как повод остаться в Москве. Хотя мамин папа, профессор института Сербского, предлагал в этом свою помощь.

У дедушки с бабушкой была большая квартира в соседнем с институтом Сербского переулке, все бы поместились, но папа хотел строить карьеру самостоятельно.

Маме было 22, и она в жизни не уезжала севернее Ленинграда и южнее Баку. Да и на Баку она никогда бы не решилась, если бы Милочка, бакиннка, с которой мама в 13-летнем возрасте познакомилась в санатории под Кисловодском, где обе отдыхали с мамами. С красавицей Милой они дружили всю жизнь, а все те, у кого есть друзья в Баку, знают, что приглашают бакинцы так, что отказаться невозможно. А принимают так, что еще невозможнее не приехать еще раз.

И, получив диплом Московского финансового института и взяв у тети Моти рецепт гречневой каши, мама поехала за любимым в Ашхабад. Устроилась по специальности в ашхабадский Госплан и сожгла несколько кастрюль, осваивая варку гречки. За полтора года в Ашхабаде – с 1968-го по начало 1970-го – родители пережили несколько землетрясений. Это были отзвуки сокрушительного землетрясения в Ташкенте, волной доходившие до туркменской столицы.

Именно там, в Ашхабаде, в крохотной съёмной комнатке, на узкой кровати с панцирным матрасом, под одним на двоих серым «солдатским» одеялом они зачали меня.

На мое счастье, в начале 1970-го папа получил повышение и перевод в Москву, благодаря чему 15-го октября 1970-го мне удалось родиться не просто в столице СССР, но и в самом ее сердце – на Калининском проспекте. Когда я изъявила желание увидеть свет, маму срочно отвезли в ближайший к их дому роддом имени Грауэрмана. После возвращения из Ашхабада родители жили у бабушки с дедушкой в арбатских переулках, но папа делал все возможное, чтобы ему выделили собственную квартиру. Но в собственную «трешку» в новостройке у метро Сокольники мы переехали только, когда мне исполнилось четыре. Из бабушкиной квартиры мама взяла с собой только мою старенькую няню тетю Мотю, потому что хотела работать, а не сидеть со мной.

Тетю Мотю моя бабушка нашла на вокзале, незадолго до начала войны. В возрасте 27 лет моя бабушка уже была замужем и растила дядю Феликса, старшего маминого брата, а тете Моте тогда не было и 18-ти. Круглая сирота, она прибыла в столицу из глухой деревеньки под Можайском, чтобы поискать работу. Но едва сойдя с поезда, обнаружила, что в пути у неё вытащили кошелек. Бабушка забрала её к себе домой, сначала просто чтобы накормить и согреть. А когда стало понятно, что работу Моте найти будет очень трудно, оформила ее через профсоюз своей домработницей. Тогда так было положено, чтобы была запись в трудовой книжке и начислялась пенсия. Тетя Мотя была очень маленькая и немного горбатенькая – последствия родовой травмы в руках темной деревенской повитухи. Поэтому на фабрики и заводы, куда обычно устраивались «лимитчицы», её не брали. Вот и пришлось ей пойти «в люди», как смеялись мои дедушка с бабушкой.

Матюша, как ласково называла её бабушка, в благодарность вкусно им готовила, чисто убирала и обожала их детей. Тетя Мотя прошла с бабушкиной семьей все тяготы военных лет, ездила в эвакуацию в Казань, вырастила двоих маминых старших братьев, потом маму, а потом еще и пятерых бабушкиных внуков – сына и дочь маминого старшего брата и трех дочек среднего. А тут как раз и я подросла.

Говорили, что тетя Мотя сразу полюбила меня так, как не любили меня все мои родственники вместе взятые. В первые месяцы жизни я очень громко кричала и никому не нравилась, кроме тети Моти. Думаю, что мне тоже, кроме нее, никто не нравился. Во всяком случае, успокаивалась я только с ней. По словам мамы, папа начал мною интересоваться только когда я заговорила. Возможно, именно поэтому я заговорила, когда мне еще не было и года. Очевидно, мне многое хотелось им высказать.

Когда позже маме казалось, что мы с папой объединились против нее, она говорила мне:

– Это сейчас он с тобой хихикает, а когда тебе было 3 месяца, хотел выкинуть тебя в окно. Ты мешала ему спать.

Папа этого эпизода не отрицал, но в ответ делился своими воспоминаниями.

Когда мне было месяцев восемь, он вернулся домой после месячной командировки, Все домашние заверещали: «Вот наш папочка! Сейчас он поцелует дочечку! Ты узнала папочку?»

«Дочечка» мрачно сидела на горшке, который почему-то стоял на бабушкином круглом обеденном столе с плюшевой скатертью. Наверное, это для того, чтобы маме ко мне не наклоняться. По словам папы, я молча дождалась пока он с сюсюканьем «Ути-пути, моя дочечка!» приблизит ко мне свое лицо, размахнулась и вlepила ему пощечину. После чего снова погрузилась в молчаливые раздумья. Все домочадцы обомлели, и только дедушка прокомментировал: «А нечего было на месяц уезжать!» Все же не зря дед был психиатр.

В свои девять лет в ответ на подобные родительские воспоминания я обычно предполагала, что детство у меня было действительно тяжелое, и кричала я не случайно, а звала на помощь. Но спасала от злодеев меня только тетя Мотя.

Тетя Мотя и впрямь стала родным человеком всей большой бабушкиной семье. Я никогда не называла её «няней», разве только поясняя любопытным, почему у меня три бабушки – одна на Арбате, другая в Чарджоу, а третья всегда при мне. В конце 1974-го тетя Мотя бросила привычное арбатское хозяйство и поехала за нами в сокольническую новостройку – так же самоотверженно, как мама за папой в Ашхабад.

Эту историю мне не раз рассказывали и мама, и папа, и вместе, и по отдельности. Суть ее у обоих была одинаковая, а вот выводы разные. Мама в конце всегда добавляла: «У нас все получилось, папа смог получить квартиру и командировку за рубеж, благодаря моему терпению и поддержке!» Папа не возражал, но свой рассказ завершал словами: «Но самое главное, что у нас есть – это наша дочь, и за это спасибо нашей любимой мамочке!»

Наверное, правы были оба. Но папин вариант нравился мне больше.

Родительская лошадь

В нашем 1 «Б» учились близняшки Оля и Лена, артистические дети. Их мама танцевала в ансамбле «Березка», а дедушка играл в каком-то народном ансамбле. Близняшки были очень активными и тоже любили устраивать самодеятельность. Но не камерную, на дому, как моя лучшая подружка Катька – тоже «закулисный» ребенок, только не танцевальный, а театральный – а общественно-полезную, в актовом зале.

Оля и Лена были очень активными: близко к сердцу принимали все дела класса, рвались к общественной работе и имели подходящие для этого громкие голоса.

Там, где были близняшки, всегда было много шума и эпицентр чего-нибудь общественно-значимого.

К концерту 7 ноября наш класс готовил песню «Тачанка-ростовчанка». Пение сопровождалась инсценировкой, и нас поделили на медсестер, которые поедут в тачанке, и кавалеристов, которые поскачут на лошадях. Я почему-то попала в кавалеристы.

Репетировали мы без реквизита, но ко дню концерта в актовом зале школы медсестрам велели принести белые халаты и повязки на голову, а кавалеристам – лошадей. Разумеется, не настоящих, а на палках, такие продавались в Детском мире.

– Но лучше сделать лошадь своими руками, – добавила наша первая учительница Нина Александровна.

Про лошадь мои родители узнали вечером накануне концерта. Я должна была сообщить им об этом намного раньше, но забыла. И вспомнила, только когда Нина Александровна записала время концерта каждому из нас в дневник, чтобы родители тоже пришли.

Меня коротко отругали за наплевательское отношение к общественно-важным мероприятиям и уложили спать. Несколько раз я просыпалась от шума. Мои родители чем-то шебуршали на кухне, и то переругивались, то ржали как лошади.

Утром стало понятно, что они мастерили мне коня.

Он уже ждал всадника у входной двери.

Папа не мог даже смотреть на моего скакуна, у него сразу начиналась истерика.

На палке от швабры гордо возвышалась лошадиная голова, любовно приклеенная к ней моими родителями, а до того вырезанная ими из картона. Раскрасили они ее тоже сами – моими акварельными красками. Слева моя лошадь была серо-буро-коричневой с зеленым глазом, а справа – черной с лиловым. Глаза у нее были на разном уровне, поэтому разница в цвете не так бросалась в глаза. Уши моей лошади вырезать забыли, зато усы у нее были как у Буденного, а грива как у Аллы Пугачевой – из старого бабушкиного парика.

– Ну как? – тихо спросила моя мама с неожиданной для нее робостью.

Я посмотрела на своего косоного скакуна. А потом на мамины синие круги под глазами, появившиеся от того, что она всю ночь его мастерила. И мне вдруг стало жалко всех троих – и лошадь, и маму, и даже папу, несмотря на то, что он не мог сдержать смеха при виде моего коня. Но ведь он тоже корпел над ним ночь напролет, пока я мирно спала. А теперь они с мамой оба пойдут на работу, а потом на мой концерт, так и не сомкнув глаз. А что они не успели в Детский мир, так это я сама виновата.

– Отличная лошадь! – твердо заявила я и погладила ее по бабушкиному парикау.

Родители облегченно вздохнули, папа взял лошадь подмышку и пошел провожать меня в школу.

Когда я вошла в класс со своим скакуном, там повисла пауза Станиславского. Потом в гробовой тишине один мальчик заплакал. Учительница испугалась, пока не поняла, что он рыдает от смеха. Через минуту рыдали все.

– Дети, нехорошо смеяться, не у всех родители могут позволить себе покупку готовой лошади, – пыталась уговорить класс Нина Александровна, указывая на кавалькаду красивых и стройных резных деревянных лошадок у двери. Родители остальных кавалеристов предпочли не напрягаться и отоварились в магазине игрушек.

Но даже она не могла сдержать улыбки, уж больно смешной была моя лошадь.

Я вспомнила папины слова про «особенную» и поняла, что снова ею стала. И в этом даже что-то есть. В конце концов, другой такой лошади ручной авторской работы ни у кого нет. Слова «эсклюзив» я тогда еще не знала, но в полной мере ощутила его значение и даже возгордилась своим конем. Особенно, когда одноклассники стали наперебой просить разрешения потрогать мою лошадь за парик. На большой перемене поглазеть на моего чудо-коня сбежалась вся школа.

Я так и не призналась, что лошадь, сделавшую меня знаменитой, смастерила не я, а мои родители. Общешкольная слава мне понравилась.

В этот роковой момент надо мной и взяла шефство близняшка Лена из ансамбля «Березка». Она решила, что человеку, соорудившему такую горе-лошадь, просто необходима помощь опытных товарищей. Лена вызвалась подтянуть меня по рукоделию, а заодно и по домоводству, да и вообще подтянуть. Обе сестры были отменными рукодельницами: в свои семь лет они умели шить, вышивать, вязать, готовить, убирать и командовать. На уроках труда наша пожилая Нина Александровна могла спокойно дремать, их вели Лена и Оля.

Я никогда не умела отказываться от навязанных услуг. Оля с Леной мне нравились, но хотела я не мастерить поделки для школьной ярмарки, а играть в мушкетеров с Катькиной компанией.

Вскоре Нина Александровна сказала, что нас будут торжественно принимать в октябрюта. Для этого мы должны разбиться на звездочки по пять человек, по количеству ее лучей.

– Кто хочет стать командиром звездочки? – спросила учительница.

– Я! – одновременно сказали Оля и Лена.

Все остальные выжидательно молчали: мы еще не знали, что такое звездочка, и чем может обернуться командование в ней.

– Хорошо, – сказала Нина Александровна. – Оля и Лена станут командирами первых двух звездочек. Теперь набирайте в свои звездочки ребят и раздавайте им октябрятские поручения.

С этими словами учительница выдала Оле и Лене по пять круглых значков с наименованиями должностей. Обе сразу гордо нацепили на себя значки с большой красной звездой и надписью «командир». А остальные значки внимательно изучили и сложили перед собой кучкой.

– Я первая набираю людей! – звонко объявила новоиспеченный командир Лена. – В моей звездочке будешь ты, ты, ты и ты...

И Лена ткнула в четверых, кто поступит к ней в подчинение безо всякого своего на то согласия. Второй из них была я.

Я до сих пор не знаю, зачем добрая Нина Александровна избрала такой недемократичный способ деления на звездочки. Вообще-то я хотела оказаться в одной звездочке со своими подружками Катькой, Женей и Ирккой. А Лена набрала под свое начало тех, с кем дружила она. А меня прихватила, видимо, из жалости – чтобы не бросать в беде человека, не умеющего нормально смастерить лошадь.

Не успела я прийти в себя от столь неожиданного поворота в моей судьбе, как Лена объявила, что я назначаюсь цветоводом-озеленителем. Выдала мне круглый значок с изображением кактуса и велела сейчас же прикрепить его к фартуку.

Отныне моей обязанностью стало поливать все цветы в классе. Не могу сказать, что это было сложно. Но я очень расстроилась. Дело было не в цветах и не в личности активистки Лены, а в чем-то ином. В семь лет я не знала, как сформулировать свое возмущение тем, что меня не спросили, с кем я хочу быть и что делать.

После того как Лена и Оля избрали себе подчиненных тоталитарным методом, прочие разбились на звездочки по остаточному признаку. Катька, как я и предполагала, возглавила звездочку, куда вошли Женя и Ира. А вместо меня и на еще одно вакантное место они взяли двух парней и были крайне довольны.

С тех пор каждое утро, просыпаясь, я первым делом вспоминала, что я не в той звездочке, и у меня портилось настроение. И ладно бы это деление было чисто условным и сводилось к поливке цветов под начальством Лены, но ведь нет! Звездочками мы делали много чего – готовили на труде, дежурили на уборке класса, готовили выступления на школьных мероприятиях и поделки для учителей на праздники...

Вся моя школьная жизнь оказалась накрепко связана со звездочкой и ее громогласным командиром Леной. Я не умела противостоять насилию над своей октябрятской личностью, поэтому избрала путь тихого саботажа. Например, когда Лена издала указ, что дни рождения мы теперь тоже должны праздновать звездочками, я быстренько прикинулась больной. Мне хотелось пригласить на свой день рождения не звездочку во главе с командиром, а Катьку, Женьку, Ирку и соседку по подъезду Олю. И разыгрывать с ними сценки из адюльтера французской королевы с английским королем, а не печь пирог из банановых корок, чему в качестве подарка собиралась обучить меня командир Лена прямо в день рождения...

Мои мытарства по кружкам и по общественной линии разом прекратил наш отъезд в Иран, куда командировали моего папу. Там мое тщеславие задремало на ласковом тегеранском солнышке – на какое-то время.

Пендюшка

Через несколько месяцев после победы исламской революции в Иране из посольства СССР в связи с опасной обстановкой в Тегеране эвакуировали женщин и детей и закрыли советскую школу. Меня тоже сначала хотели отправить домой в Москву, но бабушка отказалась со мной сидеть, и я осталась в солнечном Тегеране, не обремененная 3-м и 4-м классами среднего образования. Мы с родителями переехали в северную часть города, на террито-

рию учреждения с загадочным названием Сок и Капе, которое местные называли еще хлеще – бимарестан-е-шурави. На месте выяснилось, что таинственные «сок с капе» – это СОКК и КП, сокращение, скрывающее под собой Советское Общество Красного Креста и Красного Полу-месяца. «Бимарестан – на фарси госпиталь, а «шурави» – русский. И советские врачи, командированные в Иран лечить местных, в шутку называют себя «бимарестантами». Бимарестанткой стала и моя мама, когда, чтобы не сидеть дома без дела, пока папа на работе, устроилась в советский госпиталь на единственную должность, не требующую медицинского образования – заведующей приемным покоем.

С того момента мамина трудовая деятельность стала для нас с папой чем-то вроде ежевечерней юмористической передачи: во время ужина она развлекала нас историями из жизни приемного покоя. Маминой обязанностью было вносить в журнал данные первичных посетителей, а также тех, кого врачи направляли в стационар. Работа оказалась не простой. Шутки ли, не зная ни английского, ни фарси выяснить у посетителя ФИО, адрес и то, на что именно он жалуется!

К маме прикрепили двух помощниц-переводчиц – иранок азербайджанского происхождения Сару-ханум и Розу-ханум. Они свободно владели фарси, русским и тюркским, но помочь могли не всегда – они заодно ведали архивом, составляли и возили отчеты в иранский минздрав и помогали с переводом советским врачам, ведущим прием. Сама мама в школе и в институте учила немецкий и уверяла, что даже кое-что помнит. Но воспользоваться этими знаниями в приемном покое ей никак не удавалось. В то время, вскоре после исламской революции, многие иранцы легко общались на английском, а вот немецкий в ходу у них не был. Маме приходилось без конца залезать в выданный ей помощницами русско-персидский разговорник, который Сара с Розой сделали сами, напечатав слева русскими буквами самые ходовые фразы на фарси, а справа – их перевод. С помощью этого «самиздатовского» словаря маме удавалось успешно заполнять журнал приемного покоя – а заодно общаться с множеством разных людей и познавать мир.

Ее первая рабочая неделя ознаменовалась культурным шоком:

– Такие странные эти иранцы! – делилась она с папой в свои первые рабочие дни. – Приходит сегодня пожилой перс, за живот держится и что-то на своем мне объясняет. Я ему: «Эсме шома че?» («Назовите ваше имя» – перс). А он мне: «Насрала!» А за ним другой, тычет пальцем себе в бок и бормочет: «Насратула-насратула...»

– Ничего странного, – добродушно разъяснял мой папа, знающий фарси. – Насролла и Насратолла – одни из самых древних и распространенных в Иране мужских имен.

А уж пытаясь вызнать, что и где у пациента болит, чтобы внести это в журнал, мама в полной мере освоила пантомиму и устраивала целый театр мимики и жестов. На примере мамы папа объяснял мне, как важно в жизни знать иностранные языки. Поэтому мои родители, хотя и наплевали на 3-й и 4-й класс советской школы, все же отдали меня на курсы английского при армянской школе на соседней улице. Боялись, что по возвращении в Москву меня не возьмут назад в мою английскую спецшколу, конкурс в которую, по их словам, был как в театральный вуз. Курсы отнимали у меня по часу два раза в неделю, что в сравнении со школьной шестидневкой по 5-6 уроков в день было сущей ерундой. Однако от ступора советского отличника, стесняющегося говорить на иностранном языке (а вдруг закрадется ошибка?!) армяно-английские курсы меня успешно избавили. С ошибками или без, но я бойко тараторила на английском безо всякого смущения – доносила, как могла, свои мысли до собеседников и как-то понимала, что они говорят в ответ.

А беседовать на английском приходилось каждый раз, если мне хотелось пообщаться с девочками. Дело в том, что все остальные советские девочки, кроме меня, честно эвакуировались на родину, и в наличии были только местные – дочки владельца супермаркета на углу, где закупались наши врачи. Ромину и Рою все наши хорошо знали, поэтому пускали поиграть

на территорию советского учреждения. Но, к моему сожалению, случалось это не часто, ведь, в отличие от меня, девочки ежедневно ходили в свою школу. В остальное время приходилось общаться с мальчишками, которых, как и меня, родители на собственный страх и риск утаили от массовой эвакуации и держали в подполье на территории бимарестана. Их было четверо: трое, как и я, прогуливали школу, а одному она была еще не положена в силу детсадовского возраста. Впрочем, детсада у нас не было тоже. Зато было много свободы: пока родители работали, мы пятеро – четверо мальчишек и я – были предоставлены сами себе на больничном дворе, который в то время казался мне огромным и жутко интересным.

Мы с Сережкой, моим ровесником, по праву старшинства считались главными, и младшие – первоклассник Лешка и второклассник Макс – нас слушались. Изредка восставал только наш самый младший, пятилетний Сашка, он же брат Сережки. Беднягу все время оставляли на старшего брата: их мама была операционной сестрой при папе – хирурге-акушере. Иногда пятилетний Сашка мог обидеться на подзатыльник от Сереги и наябедничать родителям. Но если мы с Сережкой ссорились и дрались, а такое нередко случалось, Сашка все время горой вставал за брата. Сережка вообще был для младшего брата идеалом, как сейчас сказали бы – иконой стиля. Младший брат повторял за ним как хорошее, так и плохое – например, ругательные слова. А выражались мы, бывало, не самым культурным образом – особенно, когда ссорились.

Учитывая наш ограниченный детский контингент, логично предположить, что нецензурный вокабуляр заимствовался нами дома. Самые затейливые ругательства притаскивали в нашу узкую компанию Сережка и Сашка. Их папа был именно таким хирургом, какими мне представлялись хирурги по кино и книгам – немногословный высокий крепкий мужик, с большими теплыми руками. Да и взрослые рассказывали, что Сережко-Сашкин папа – что называется, хирург от Бога. Говорили, что ему нет равных – как в операционной, так и по части крепкого словца. Что до его акушерской специализации, я тогда не очень понимала, что это. Для нас все эти мудреные названия докторских профессий – отоларинголог, дерматолог, уролог – были привычными, обиходными названиями, но чем именно они там занимаются в рабочее время, нас не сильно интересовало. Точно нам была известна сфера приложения только тех специалистов, которых обслуживающий персонал из местных, нахватавшийся русских слов, называл по существу – например, доктор-кожа (дерматолог), доктор-нос и доктор-глаз. Лешкин папа как раз был «доктор-нос», папа Макса – «доктор-глаз», а Серегиного папу местные никак не называли.

Однажды Серегин папа взял нас с Серегой на операцию по кесаревому сечению – наверное, в педагогических целях, чтобы мы увидели, как нелегко матери дается жизнь ее ребенка. Мы наблюдали все от начала и до конца – и на меня действие произвело глубочайшее впечатление. Особенно, когда Сережкин папа извлек из кровоточащей раны на животе усыпленной и укрытой простыней пациентки настоящего, живого ребеночка и тот жалобно заскулил. А потом Серегин папа отрезал – как мне показалось, от новорожденного – какой-то окровавленный предмет размером с яйцо и ловко метнул его в урну в углу операционной прямо над нашими головами. Тогда же я имела удовольствие прослушать хваленые крепкие «хирургические» выражения. Ничего подобного я доселе не слышала: дома при мне ничего страшнее «сволочи» не произносилось. Но удивительным образом крепкие словечки не покорили мой слух: я восприняла их как фольклор, подивившись, что витиеватые производные от всем известных «плохих» слов могут звучать не похабно, а забавно.

Как-то вечером мама за ужином в очередной раз веселила нас с папой историями из жизни приемного покоя:

– Такая роскошная дама поступила к нам в платную гинекологию! – делилась мама. – Я даже не знала, что бывают такие красивые и утонченные персиянки! Наверное, из местной аристократии. И что она только забыла в Красном Кресте?

– У нас лучшие в городе гинекологи, – вступился за честь госпиталя папа. – Особенно после того, как уехали английские и американские.

Мама сообщила, что новая пациентка легла на обследование по женской части – и принялась со вкусом описывать ее дорогой шелковый халат, золотые украшения, гордую осанку, тонкость черт и изысканность манер. Описания были столь наглядными, что я во всех красках представила себе эту шикарную даму. Заодно мама похвалилась, что ей, наконец, удалось применить свой немецкий, благо новая пациентка изъяснялась на всех европейских языках. К тому же, новенькая очень обрадовалась случаю пообщаться с первой в ее жизни советской женщиной, которой оказалась моя мама.

– Она рассказала мне, что училась в Париже на архитектора, – поведала нам мама за очередным ужином. – В той же «эколь» (школе), что и шахиня Фарах Пехлеви.

Еще несколько вечеров подряд мама живописала, как подружилась с шикарной персиянкой и как многое про нее узнала. Имя красавицы – Паризад-ханум – произвело фурор среди моих дружбанов мужского пола, которым я (за неимением иных новостей) мамини рассказы исправно передавала. На фоне однообразных бомбежек появление ханум «Париж-в-зад», как тут же окрестил новую пациентку Серега, стало настоящим событием.

– Такая красивая женщина, а имя такое ... странное! – говорила мама.

– Никакое не странное, это древнее и распространенное персидское женское имя, переводится как «ангелочек», – снова терпеливо пояснял папа, по персидскому и истории Ирана у него всегда было «отлично».

Вскоре выяснилось, что Паризад-ханум происходит из богатой и знатной тегеранской семьи. Как она рассказала моей маме, в отличие от большинства своих родственников и друзей, в революцию ее семья не покинула Иран по воле ее отца. Тот служил при шахе Пехлеви, тяжело переживал бегство монарха из родной страны, но сам уехать не смог – так любил свою родину. Тогда это не казалось пустыми словами: многие богатые и светские иранцы так и не нашли в себе сил покинуть свое отечество после революции. Одни надеялись, что шах вернется и все станет по-прежнему, другие верили, что исламская революция сделает их народ счастливым... Да и любовь к родной земле – для иранцев не пустой звук, а вполне осязаемая, конкретная привязанность. Я имела случай убедиться в этом на примере своих подруг: их отец, владея несколькими магазинами в центре Тегерана, мог бы последовать за своей родней, эмигрировавшей в Париж и в Лос-Анджелес. Но он сказал своей жене, двум дочерям и сыну: «Мы никуда не поедem, наш дом тут». А слово отца в иранской семье – закон.

Еще Паризад-ханум рассказала моей маме, что ее семье удалось уберечь от национализации один из своих роскошных особняков в предгорном местечке Дарбанд на севере Тегерана.

Я знала этот дорогой северный район: иногда папа возил нас с мамой туда на машине – погулять и подышать воздухом. В Дарбанде было намного прохладнее, чем внизу, в центре города, и воздух намного свежее.

Мама рассказала, что Паризад-ханум даже пригласила через нее всю нашу семью в гости в свой дом в Дарбанде, как только она закончит обследование.

Еще новая приятельница поделилась с моей мамой тем, что привело ее в советский госпиталь. Рассказала, что в свои 32 года она десятый год замужем, а забеременеть все никак не удастся. Это огромная проблема для любой семьи, а для иранской – десятикратная. Паризад-ханум знала, что эффективнее всего бесплодие лечат в Европе. Но если в 80-м выехать из страны иранцы еще могли, то назад не пустили бы точно – только это остановило Паризад-ханум от лечения в Цюрихе, где она наблюдалась в шахские времена. А в Тегеране европейских врачей не осталось, кроме советских. И кто-то из знакомых сказал Паризад-ханум, что советские не так уж плохи. Мол, госпиталь хотя и Красного Креста, но условия хорошие, особенно, в платном отделении. Здание и оборудование предоставлены еще шахом, то есть,

европейского уровня. А врачей в Советском Союзе учат на совесть и медикаменты им с родины присылают качественные, проверенные.

Наконец, настал тот день, когда и мы с моими четырьмя друзьями увидели хваленую Паризад-ханум своими глазами.

Обычно мы носились по больничному двору на скейтах: мы называли их «досками», тогда они только появились в продаже. Тегеранские спортивные магазины успели закупить их в большом количестве в Штатах еще при шахе, а Хомейни не нашел в них ничего предосудительного.

От нечего делать и хорошей погоды скейты мы быстро освоили и выделяли на них самые невообразимые пируэты. Своей «доски» не было только у пятилетнего Сашки, хотя кататься он умел – просто мама ему не разрешала. Когда у Сережки было хорошее настроение, а их мамы рядом не было, он давал Сашке прокатиться. А когда мама не видела, но Сережка прокатиться все равно не давал, хитрый Сашка начинал нарочито громко и пронзительно реветь. Пока на его истошный вой не сбегались взрослые и не начинали выпрашивать, кто же обидел такого хорошего мальчика?!

Вид у Сашки был и впрямь ангельский: белые кудряшки и огромные синие глазищи, которыми он умел хлопнуть так, что тут же получал все желаемое. Иранцы просто не могли спокойно пройти мимо нашего Сашки: белокурые и голубоглазые детки чрезвычайно их умиляли. Мы же с Серегой были темноволосыми, а Лешка с Максом – каштановыми и кареглазыми. К тому же, мы были старше, поэтому местные восторженно щипали за пухлые щечки только несчастного Сашку, который это ненавидел. Но ему объяснили, что грубо отпихивать иранских взрослых, пытающихся его потискать – некрасиво. Иранцы не видят ничего плохого в том, чтобы расцеловать чужого ребенка, а щипание за щеки – для них выражение восхищения высшей степени. Мне иногда даже становилось слегка обидно, что меня никто не тискает: в свои девять среди местных я считалась уже почти взрослой – и к обращению ко мне иранцы даже добавляли уважительное «ханум» – госпожа. А к маленьким девочкам так не обращаются.

А что ангелочек Сашка умел быть и другим – орать, как резаный, топтать ногами, стучать кулаками и ругаться, как сапожник – знали только мы, его друзья. Ну и, может быть, его родители. Хотя отца своего Сережка с Сашкой оба боялись чрезвычайно. И угроза наябедничать их папе мигом приводила обоих в чувство.

В то утро мы, как всегда, гоняли на скейтах вокруг фонтана в больничном дворе, а Сашка, как всегда, ныл, выклянчивая у Сереге доску, чтобы прокатиться. В этот момент перед нами и появилась она – Паризад-ханум. Я сразу ее узнала, несмотря на то, что никогда раньше не видела: по точеному профилю, толстой каштановой косе, обвитой вокруг головы (на территории госпиталя женщины могли не носить платок), шелковому халату с драконами и ювелирным украшениям тонкой работы – так красочно расписала все это моя мама. Роскошной персиянке явно было скучновато одной сидеть на скамейке возле фонтана и хотелось пообщаться: она отложила глянцевого журнала, который листала, встала и направилась – разумеется, к ангелоподобному Сашке! Тем более все остальные носились туда-сюда на своих досках, а этот милый мальчик стоял в одиночестве и жалобно хныкал.

Конечно же, великолепная Паризад первым делом ухватила Сашку за его аппетитные щечки и что-то умиленно заворковала на фарси. Сереге заметил это издали и быстро понял, что дело пахнет керосином.

– Давай быстро к ним! – крикнул он мне. – А то этот придурок сейчас как ляпнет что-нибудь!

Тут надо отметить, что со всеми нами родители проводили регулярную профилактическую работу на предмет правил общения с местными.

Запретить нам приближаться к иностранцам в принципе было невозможно: другого места для прогулок, кроме того, где дышат воздухом пациенты и их посетители, у нас просто не было. Но мы знали, что у иностранцев нельзя что-либо просить и брать (кроме тех случаев, когда ты в магазине со взрослыми и хозяин тебе что-то дарит, а родители разрешают это взять).

Если же иностранцы сами у тебя что-то просят или выпрашивают, надо немедленно сообщить об этом старшим.

Еще нам нельзя было говорить о себе Russian – русский, только Soviet – советский.

Иностранцам ни в коем случае не следовало хамить, огрызаться и вообще как-либо порочить гордое звание советского ребенка. А то, мол, пациенты могут пожаловаться на это «раису» – то есть, директору госпиталя (раис – начальник – перс). И наших родителей вышлют в Союз в 24 часа – за то, что не воспитали своих детей должным образом. Этого мы боялись пуще всего: страшно было даже представить, что с нами сделают папы-мамы, если из-за нашего поведения сорвутся их дачи-Волги и прочие грандиозные планы на сытую жизнь и доме-полной чаше в Союзе.

Циркуляр про «просьбы и выпрашивание» был не слишком актуальным: все равно иностранцы, нас окружавшие, русского не знали, а фарси и английского не знали мы. Из нас пятерых по-английски немного болтала я, благодаря своей московской «позвоночной» и тегеранской армянской школам. Когда я стала посещать последнюю, а мой папа за это платит, он даже сказал мне, чтобы я использовала любую возможность попрактиковаться в своих разговорных навыках. Например, если кто-то из пациентов госпиталя во время прогулки вдруг желает побеседовать со мной по-английски, я не должна убегать, как дикарь, или невежливо молчать, как глухарь. Вполне можно сообщить собеседнику свое имя и возраст, рассказать, какой красивый город Москва и как прекрасно, что советские врачи лечат иранских больных.

– Ты только случайно не скажи никому monkey (мартышка – англ) или dog (собака – англ), а то для иранцев это обидные обзывательства, – пошутил мой папа. – Сразу побегут к раису жаловаться!

Видимо, «жалобы раису» и испугался Серега, увидев, что его младший брат, крайне расстроенный недавним ему скейта, остался наедине с тискающей его иностранкой. Пятилетний Сашка, хотя иностранными языками в силу малого возраста и не владел, но по-русски, когда хотел, мог изъясняться красиво, как взрослый. Но в данном случае общаться Сашка не хотел, он хотел кататься. А иностранная тетка, вцепившаяся в его щеки, ему мешала. Сашка хотел только одного – отнять у брата доску и у него, видимо, был план. И ровно в тот момент, когда мы с Сергой подкатились к Паризад-ханум, держащей в своих наманикюренных пальчиках Сашкины розовые щечки, хитрый Сашка попытался ногой выбить из-под старшего брата доску, для чего ему пришлось довольно резко оттолкнуть Паризад-ханум. При этом он громко и членораздельно изрек перл из фольклорного репертуара своего папы-хирурга – в печатном варианте пусть он звучит как «пендюшка».

Дополненное уменьшительно-ласкательным суффиксом, бранное слово звучало забавно и на удивление точно отражало суть того, к чему его применяли. По крайней мере, в исполнении Сережкино-Сашкиного папы. «Пендюшками» он величал назойливых женщин, а заодно – досадные обстоятельства, осложняющие жизнь. Например, суровое: «Вымотала меня эта пендюшка!» – это про приставучую пациентку. А пренебрежительное «Все это пендюшкины слезы» – про муху, из которой раздули слона.

Отцепляя от своих щек назойливую Паризад-ханум, маленький Саша выбрал тон первый, суровый:

– Уйди, пендюшка! – внятно молвил ангелоподобный мальчик в гробовой тишине, образовавшейся от того, что удивленная Паризад-ханум перестала щебетать.

Возможно, аналогичным тоном могло быть сказано и что-то вроде «Простите!» – например, когда ты отталкиваешь того, кто загораживает тебе выход из трамвая на твоей остановке, а ты опаздываешь.

– What did this pretty kid say? («Что сказала это прелестное дитя?» – англ) – спросила Паризад-ханум, глядя почему-то на меня. Наверное, она тоже считала меня взрослой.

Сергея больно ткнул меня в бок – мол, положение надо спасать! Я его поняла. Да и сама я была вежливой ровно на столько, чтобы догадаться, что истинное значение сказанного «прелестным дитя» иностранке переводить не стоит.

– He said that you're very beautiful! («Он сказал, что вы очень красивая!») – отделалась я несложной фразой.

Тут Паризад-ханум расплылась в довольной улыбке и к нашему ужасу стала радостно причитать на все лады:

– О, пендюшка! I am pendiuska! What a nice Russian word! Such a polite Soviet boy! («Я пендюшка! Какое прекрасное русское слово! Какой вежливый советский мальчик!»).

Мальчишки прыснули в кулаки и разбежались. А я ради приличия постояла еще полминуты, затем почтительно, как хорошая девочка, сказала «Гуд бай!» – и тоже убежала к друзьям хихикать.

На следующий день мы старались не попадаться гуляющей Паризад-ханум на глаза – надеялись, что, не видя нас, она забудет и «прекрасное русское слово», которое так некстати выучила. А через пару дней мы и вовсе забыли о том, что научили Паризад-ханум плохому.

Зато на третий день вечером мама пришла с работы потрясенная и стала делиться с папой:

– Представляешь, эта интеллигентная персиянка, Паризад-ханум, заходит сегодня ко мне в приемный покой угостить персиками и вдруг заявляет: «Вы, Ирина-ханум, пендюшка!» Только не говори мне, что это очередное древнее распространенное персидское имя! – предостерегающе повысила голос мама и продолжила:

– Я аж дар речи потеряла! А она все повторяет это, заглядывает мне в глаза и спрашивает: «Вам приятно, Ирина-ханум?»

Я почувствовала неладное и стала подвигаться к входной двери, чтобы сбежать во двор. Но папа предугадал мой маневр:

– А ну-ка стой! Сдается мне, что без тебя тут не обошлось!

– И ведь не скажешь же ей, что это гадость! – продолжала рассказ мама, нарочито не глядя на меня. – Ну, я ее и спрашиваю: «Где ж вы, Паризад-ханум, слышали такое слово?!» А она мне: «А вот в нашем дворе гуляет такой прелестный и воспитанный белокурый мальчик, он мне так сказал! А девочка темненькая постарше перевела, что это по-русски значит – красивая! Такой маленький мальчик, а уже дамам комплименты делает! Такая прелесть! Вот я слово и запомнила, чтобы при случае тоже кому-нибудь из советских женщин комплимент сделать. А вы, Ирина-ханум, самая главная пендюшка!»

Тут папа покотился со смеху. Но маме было не смешно:

– Вот ты ее так воспитываешь, шуточками своими, а результаты получаю я! – закричала она. – Посмотрела бы я на тебя, если бы эта Паризад приперлась к тебе в кабинет с сообщением, что ты главный пендюк!

Тут мне стали делать внушение. Но быстро пришли к выводу, что я хотела, как лучше. И вообще у меня не было другого выхода. А что до маленького Сашки, так он не виноват – подцепил от своего старшего брата, который, в свою очередь, подцепил от своего отца. И я даже догадываюсь, где! Сережка мог «притащить пендюшку» с той самой операции, куда нас брал его отец: в процессе это словечко точно звучало и мне тоже запомнилось. Другое дело, что мне уже давно не пять, и я бы никогда не применила его ко взрослому человеку – тем более, к иностранке.

В итоге мои родители постановили, что если Сашку сейчас отругают, то он, наоборот, это неприличное словцо запомнит надолго. А если сделать вид, что ничего страшного не произошло – то, может, и забудет. И родителей Сашкиных расстраивать не надо – у них на днях целый ряд ответственных операций. А наша «Париж-в-зад» все равно скоро выпишется – и пусть тогда хоть всех подряд пендюшками обзывает! А пока не выписалась, надо просто предупредить всех наших, чтобы, если что, на «комплименты» от Паризад-ханум не реагировали.

Так оно и вышло. Паризад-ханум еще недельку пообзывалась на всех медсестер в гинекологии, а потом ее выписали. Говорят, после лечения в советском госпитале она сумела забеременеть – и не последнюю роль сыграл в этом как раз Сашкин отец. Он что-то там ей вырезал.

Дарбандская канатка

Дарбанд, как и другой северный район города Шемиран, расположены выше уровня моря почти на 2 тысячи метров. А фуникулер из Дарбанда поднимал к горе Точаль аж на все 4000 метров. Мне эта информация отчетливо запомнилась потому что в 9 лет мне никак не удавалось ее визуализировать. Вот мы с мамой и папой гуляем по Дарбанду, а под нами, ниже на два километра, море! И где же оно тогда? Позже, конечно, пришлось осознать, что для подобного географического утверждения морю вовсе не обязательно быть поблизости. И оно значит всего лишь, что это мы в горах, а море, выше уровня которого мы находимся, может быть где угодно.

Поблизости была главная из шахских резиденций – дворец Ниаваран. Именно в нем до своего бегства семья Пехлеви проводила больше всего времени. В окрестностях еще с шахских времен осталось множество изысканных ресторанчиков: они все еще работали, просто перестали продавать вино.

В Дарбанде больше всего мне нравилось любоваться шикарными виллами, утопающими в роскошных садах с водопадами и фонтанами, вместо заборов окруженными живой изгородью из тутовника. Там был особняк и любимой национальной певицы иранцев Гугуш, но на тот момент она уже бежала из страны.

Один из домов был выстроен в виде гигантского корабля и папа рассказывал, что хозяин этой виллы – бывший капитан. А такой архитектурой дома он, мол, пытался заглушить свою тоску по морям-океанам. И что с тех пор, как он сошел на сушу, он каждое утро выходит на «нос» своего дома-корабля, встает за штурвал, который там установил, и начинает отдавать приказы команде своего судна – то есть, домашним. Я понятия не имела, откуда папа все это знает, но дом-корабль с хозяином-капитаном, утащившим к себе домой настоящий штурвал с настоящего корабля, в моих глазах становился вдвойне интересным.

Еще я любила подниматься на смотровую площадку Дарбанда, откуда город был как на ладони и казался игрушечным. Но главной моей страстью некоторое время была канатная дорога. До того самого раза, пока папа не внял моему нытью и не купил мне за один туман билет «туда-обратно» до ближайшей станции. До вершины Точаля оттуда было еще ох как далеко. Но мне хватило и этого.

Сейчас бы это устройство назвали кресельным подъемником первого поколения: в 70-х, при шахе, оно поднимало наверх горнолыжников, а в 80-м осталось не при делах. Моя мама считала, что у иранцев не может быть ничего исправного, поэтому кататься на казавшейся ей заброшенной «канатке» мне категорически запрещалось.

Запрещалось – а потому и стало тем самым особо сладким плодом, о котором я исправно вспоминала каждый раз, когда мы приезжали в Дарбанд.

И однажды, когда мама не поехала с нами, а я изныла папе все уши, он сказал то, чего я собственно от него и добивалась: «Ну ладно, только отстань!» И купил один билет, заявив, что его «паризад», пожалуй, не поместится в узкое сиденье.

Меня усадили в заветное креслице, причем на всей канатке я была совершенно одна, других пассажиров не было в принципе. Папа остался ждать меня возле рубки, откуда устройством управлял пожилой иранец.

Это было волшебное ощущение – в гордом одиночестве, сидя на крохотном стульчике, лететь сначала над дарбандскими особняками и садами, потом над ресторанчиками в горных ущельях, над водопадом и горной речушкой, храбро наблюдая, как дома и люди внизу на глазах превращаются в мелких букашек. И вдруг скрип канатов и шестеренок замолк, мое креслице дернулось и замерло – и я зависла над почти бездонной пропастью. В первую секунду было и страшно, и весело, и захватило дух. Но еще через секунду меня охватил ледяной ужас и ощущение полнейшей беспомощности и одиночества – это противное чувство я помню до сих пор. Подозреваю, что управляющий «канаткой» иранец выключил на пару секунд рубильник в самой высокой точке по просьбе моего отца, они как раз беседовали, пока я каталась. Если это так, то трюк отцу удался в лучшем виде: с тех пор, приезжая в Дарбанд, я больше ни разу не заикнулась о канатке.

Пуль фарда!

Я обожала, когда к нам на больничный двор приходили поиграть дочки владельца соседнего продуктового магазинчика – иранца по фамилии Рухи. Мы общались на адской смеси английского, русского и фарси, но диковинным образом прекрасно друг друга понимали. А нахватавшись обиходных персидских слов, я снова вляпалась в лингвистический казус. Вернее, замаскировала под него осознанное преступление – и за него мне уже попало по-настоящему. Родители редко баловали меня сладостями, а я их очень любила – особенно, кукурузные хлопья в карамели. Они продавались в больших красивых коробках как раз в магазине отца моих подружек и стоили довольно дорого – 15 туманов. В какой-то момент жажда наслаждения вкусом стала во мне сильнее здравого смысла – и я придумала, как себе это наслаждение устроить. Я уже заметила, что в определенные дни и часы отец моих подружек оставляет за прилавком своего 15-летнего сына Хамида, а сам уезжает на закупки. Хамид был очень вежливым парнем или просто я ему нравилась, но он все время улыбался, когда меня видел. И когда я впервые заявила к нему в магазин без родителей и ткнула пальцем в заветную коробку, Хамид с радостью мне ее протянул. И даже на то, что вместо оплаты я заявила «Пуль фарда!» («Деньги завтра!» – перс), добрый парень тоже радостно кивнул и улыбнулся.

В этом, собственно, и состоял мой план. Первоначально я рассчитывала со временем признаться в содеянном своему папе и попросить его отдать Хамиду 15 туманов. Но потом как-то забыла... Тем более, все так удачно складывалось, и юный продавец каждый раз по-прежнему радостно мне улыбался! Каждый раз – потому что я стала регулярно навещать за лакомствами. И не только сама: я приводила своих друзей-мальчишек и при помощи своей волшебной фразы «Пуль фарда!» угощала их любыми вкусностями. Конечно, у моих подружек сладостей и так было вдоволь, ведь это был их магазин! А мальчишки, хотя и бывали противными, но, так же, как и я, избалованы лакомствами не были. Чуть ли не целый месяц сын хозяйина безропотно выдавал мне все, что я у него просила. Но однажды час расплаты все же настал: видно, «фарда» накопилось столько, что недостачу заметил сам господин Рухи – и Хамиду пришлось меня «сдать». Как именно у них там все выяснилось, мне неизвестно, но скандал у себя дома я запомнила очень хорошо! В тот роковой вечер мой папа как раз заглянул в магазинчик Рухи, где приветливый хозяин обычно по-дружески с ним болтал – как с единственным, кто в советском госпитале мог общаться на его родном языке. Но в этот раз господин Рухи выглядел смущенным и расстроенным: через слово извиняясь, он предъявил моему отцу счет, который уже хорошенько перевалил за сотню туманов. И тем вечером вместо ужина родители закатали мне разбор полетов, который им весьма удался. Возможно, именно из-за него с того самого далекого тегеранского 80-го больше ни в одну аферу я никогда в жизни не ввязывалась.

Мой первый баран

Накануне Новруза – иранского Нового года, недельное празднование которого начинается в день весеннего равноденствия 21 марта – папа сообщил, что семья Рухи приглашает меня в гости с ночевкой. С вечера вторника в их доме будут отмечать Чахаршанбе-сури –

последнюю ночь со вторника на среду уходящего года, в которую принято совершать интересные обряды, эта традиция досталась иранцам еще от зороастрийцев. Мама пыталась воспротивиться: ребенка, одного, на всю ночь, в местный дом, на религиозные торжества... Но папа заверил ее, что Чахаршанбе-сури, как и сам Новруз, пришли из доисламских времен и к религии никакого отношения не имеют. Это, скорее, фольклорное наследие вроде колядок и святочных гаданий на Руси. Но главным аргументом для мамы стало то, что раз ребенок – то есть, я – лишен советских детских развивающих мероприятий, то пусть хоть на иранские поглядит, а заодно в английском поупражняется и получит знания о древнейшей истории и философе Заратустре. Перед понятиями «развивающие мероприятия» и «знания» мама устоять не смогла – и меня благополучно отпустили.

В назначенный час – к 9 вечера во вторник – папа проводил меня до дверей дома Рухи, пообещав, что заберет завтра к вечеру. В квартире, занимающей целый этаж, собралась вся семья – сам господин Рухи с женой, мои подруги Ромина и Роя, их старший брат Хамид, а еще зашла соседская девочка по имени Жанет и привела с собой свою кузину. В ожидании праздничного ужина мы с девчонками сидели на крыше их дома, что в Тегеране до войны было повсеместно принято, и наслаждались теплым ласковым вечером, рассказывая по кругу страшные истории. Когда подходила моя очередь, я тоже выдавала очередную «страшилку», хотя задача осложнялась тем, что «травить байку» мне приходилось по-английски, иначе соседницы меня бы просто не поняли. Активно жестикулируя, я на ходу изобретала литературный перевод детским идиомам вроде «длинных-предлинных рук», высовывающихся из стены «черной-пречерной комнаты».

Тем временем на крышу поднялись господин Рухи с женой, Хамид с Роей и еще два незнакомых дядьки с большим мешком. Мешок шевелился и издавал какие-то звуки.

– Пойдем быстрее смотреть! – закричали мои подружки. – Барана принесли!

Из мешка и впрямь вытащили маленького кучерявого барашка. Он монотонно блеял в руках у одного из мужчин и даже не пытался убежать. Барашку дали кусочек сахара и он принялся с удовольствием им чавкать.

– Они его убьют? – с ужасом указала я на мужчин.

До этого я так близко видела барашков только в поле возле того самого подмосковного дома отдыха, где билетерша пускала детишек в кино без билетов.

– Нет, отец с Хамидом сами его зарежут! – ответила Ромина гордо. – Но ты не волнуйся, барашек не поймет, что его будут убивать. Видишь, ему дали сахар? Чтобы ему было сладко, и он умер в радости.

– Как можно умереть в радости? – изумилась я.

– Очень просто, – невозмутимо ответила иранская подружка. – Если ты не знаешь, что умрешь, а во рту у тебя сладко. Ножа он не увидит, потому что на голову ему наденут мешок, чтобы мясо было халяльным.

– Каким???

– Халяль – это мясо животного, в организм которого не попали гормоны стресса от страха перед смертью, – пояснил хаджи, услышав наш разговор. – Для этого животное не должно знать, что его готовят к закланию. Также в туше не должно остаться крови, чтобы она стала чистой пищей для правоверного.

– Тушу подвешат, чтобы вся кровь из нее вытекла, – добавила Ромина.

Я содрогнулась. Не столько от жалости к барану, сколько от легкости, с которой она это сказала. Если бы такое слышали на станции юннатов в парке Сокольники, куда нас водили в московской школе, Ромину точно исключили бы из пионеров. Но в Тегеране это ей явно не грозило.

По подружкиному тону я поняла, что дело это, видимо, почетное и выражать свой ужас по поводу скорой гибели барана сейчас неуместно.

Меня смущало только то, что все явно собрались созерцать процедуру его умерщвления, а я этого не хотела. Я понимала, что барашка этим не спасу, просто боялась испортить себе настроение. А оно по итогам долгого и насыщенного дня было у меня чудесным.

При виде барашка мне вспомнился козлик Алеша из папиных историй о его туркменском детстве. Папа рассказывал, как в своем родном городе, на краю пустыни, он уходил с Алешей далеко-далеко, чтобы козлик мог пощипать что-то, кроме верблюжьих колючек. Папа очень любил этого козлика и очень плакал, когда однажды Алеша пропал. Его папа, мой дед, сказал ему, что его любимый козлик убежал. А его мама, моя бабушка, убирая посуду после сытного мясного обеда, вдруг сказала: «Спасибо Аллаху и козлику Алеше, что мы сегодня сыты!». Так папа узнал, что он вместе с братьями и сестрами съел своего любимого питомца, с которым гулял и играл. Он страшно плакал, а его мама стыдила его: «Война, сынок, голод, мужчины сражаются, а долг женщины – прокормить свою семью!» Дело было в Великую Отечественную войну, папе было пять лет.

Меня очень впечатлило, что папа, сам того не зная, поужинал своим любимцем. И я поняла, что не смогу спокойно наблюдать, как с этой же целью убивают барашка!

Но одновременно сообразила я и то, что демонстративно отказаться присутствовать при бараньей казни будет неприлично. Судя по реакции моих подруг, для иранцев и даже для их детей дело это не только привычное, но и праздничное. Специально зарезав барана, иранские хозяева оказывают особую честь своему гостю. А в данном случае гость – это я.

Мне совсем не хотелось обижать этих славных гостеприимных Рухишек, которые ради меня и затеяли этот главный ритуал национального гостеприимства. Наблюдая, как барашку надевают на голову чистый холщовый мешок, я готовилась схитрить и шепнуть Ромине, что мне надо в туалет, для чего мне придется спуститься вниз, в квартиру, как вдруг все захлопали в ладоши и закричали: «Машалла!»

Хамид обмывал из шланга забетонированную площадку в углу крыши, возле дождевого стока, а господин Рухи держал барашка за задние ноги. Больше он не блеял.

– Что, уже??? – испугалась я. – Я даже ничего не слышала!

– А что ты хотела услышать? – засмеялась Жанет. – Кровожадные крики, звуки погони и визг бензопилы?!

Тушу подвесили за задние ноги и я все же убежала в туалет.

Когда я вернулась, меня ждала небольшая лекция от господина Рухи. Видимо, его встревожило, что переживания за барашка могут испортить мне праздник.

– Понимаешь, не случайно правоверные предпочитают баранину, – сказал он. – В отличие от других животных, баран не понимает, когда его ведут на заклание. Перед смертью его кормят сладким и закрывают глаза мешком, чтобы он не видел нож и не нервничал. Он не испытывает страха, поэтому в его кровь не выбрасываются гормоны тревоги и страха кортизол и адреналин, которые очень вредны для человека, если попадут в его организм со съеденным мясом. Прежде чем разделать баранину, из туши полностью спускается вся кровь – это и есть правила «халяль», рекомендованные Всевышним. Потреблять мясо испуганного животного или всеядного вроде свиньи, а также мясо с кровью – грех для правоверного. Вроде бы религиозная догма, но с медицинской точки зрения оправданная. Барашек питается травкой, гормоном страха не отравлен, от крови, в которой могут содержаться разные бесполезные людям элементы, очищен. Баранина – самое чистое и полезное мясо. Следом идет курица.

– А бараний жир лучше всего усваивается и от него не толстеют! – добавила аргумент к мини-лекции Роя.

Удивительно, но, то ли потому что я не видела крови, то ли древняя местная традиция чувствовать дорогого гостя парным барашком настолько впитала в себя атмосферу праздника, что утратила привкус отвращения и страха перед смертью, но я как-то сразу успокоилась и приняла ситуацию.

А быть может, половина восточной крови подсказала мне, что в этом месте и с этими людьми будет не деликатно и не умно напоказ жалеть барашка, возмущаться их жестокости и отказываться от угощения. Ведь я тут по большому счету человек случайный, а баранов восточные люди режут веками, со мной или без меня. И козлика Алешу тоже съели. С одной стороны, его жалко, а с другой, им насытились голодные дети войны, которым хоть иногда нужно было есть мясо, чтобы они росли и развивались.

Рассуждая таким образом, я быстренько, как сказали бы сейчас, закрыла сама себе «гештальт с бараном» и с аппетитом приняховивалась к ароматам, когда его стали жарить.

Барашка жарили тут же на крыше, на вертеле над массивным встроенным мангалом. В Союзе я таких никогда не видела. Даже в шашлычных парка Сокольники шампуры клали на обычные четырехногие мангалы, не говоря уж о семейных дачных шашлыках на крохотных самодельных мангальчиках.

Господин Мамну

Как в любом замкнутом мирке, в нашей больнице все друг друга знали – и советские врачи, и местный персонал. Другое дело, что запомнить имена друг друга русским и персам было не так-то просто, и в ход шли прозвища. При этом местные давали их нашим по профессиональному признаку, а наши все время норовили переименовать их на русский лад.

Все санитарки с именем Фатима, а их было несколько, стали Фаньками.

Пожилой консьерж нашего жилого дома, которого я уже упоминала, из Калана («великий, старший» – перс) превратился в родного нашему слуху Коляна.

Медсестра приемного покоя, мамина помощница-переводчица Роушани (блестящая – перс.) стала Розочкой, а садовник Барзулав (орел – перс.), поливающий газон перед нашим домом – Борькой.

Толстую повариху столовой по имени Зиба наши ласково звали тетей Зиной, а ее молодую хорошенькую помощницу Эмеретет (бессмертие – перс.) почему-то переименовали в Мегерку.

Персы присвоенные им русские имена запоминали, а вот наши – нет.

Исключением была только я со своим привычным восточному слуху именем, только местные произносили не «Джамиля», а «Джамиле», добавляя уважительное «ханум».

Всех прочих иранские сотрудники советского госпиталя величали запомнившимися им русскими словечками, связанными с профессией. Например, доктор-нос, завхоз-ага (ага – господин-перс), начмед-ага – краткий вариант «господина начальника медицинской части». Имена моих друзей мальчишек местным никак не давались, и они величали их на манер Хоттабыча с его «достопочтимым Волькой-ибн-Алешей».

Например, папа нашего Максима был офтальмолог или доктор-чашм (чашм – глаз – перс). Поэтому Макса наши «бимарестанские» персы звали «Песар-э-доктор-э-чашм-ага» – а иначе говоря, господин сын доктора-глаза. Наш Лешка был «господин сын доктора-носа». Надо ли говорить, что не проходило и дня, чтобы мы не поупражнялись в остроумии на тему Сережи и Саши, которые были «господами сыновьями доктора акушера-гинеколога»?!

Мы, в свою очередь, тоже не могли запомнить имена всех тех местных, с кем сталкивались ежедневно – садовников, медсестер, водителей, охранников – и обозначали их по каким-то внешним либо поведенческим приметам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.